

ДЕТИ ПРИРОДЫ

(Авторизованный перевод)

ГЛАВА I

Мне двадцать один год. Я имею трех лошадей, двух коров и десять голов овец. Прошлой осенью дом перестроил пятистенным, заменил старые бревна новыми. Для этого был у меня куплен лес от барина, и потому всю зиму теплом наслаждался. Сверх того осталось еще мелких сорок семь бревен, да еще, если будет суждено, достану один или два дубовых столба и думаю будущей осенью поставить новые ворота и хотя бы маленькую клеть. После этого останется только баня. Современем, бог даст, и это будет. В деревнях про наших братьев говорят: «Средней руки, недурно живут». Кроме того, когда одинок, кому угодно свата пошлешь, отказа не получишь, в этом не сомневайся.

На нашей стороне старик Джемали пользуется большой известностью. И тот уже будто бы говорил: «Отчего Хафиз не женится? Недурно живет, сам он одинок, чью бы дочь ни попросил, дескать, отдали бы за него».

У самого у него есть своя Фахрниса. Джемали, польстившись на богатства, старшую дочь свою выдал в большую семью, там она и сгинула.

И теперь эту Фахрнису думает получше устроить. Хотя он и не признается, но если от моего имени пойдет сват с известным положением, то и за меня выдать не прочь. Это видно по их намекам. Фахрниса сама, кажется, ко мне равнодушна. У меня есть Джинги, какая-то странная шутливая хохотушка. Как только наступит осень, доставишь хлеб в амбар, начнет она свое сватовство. Как-то раз переступила порог и зали-

вается смехом: «Не женишься, заставляешь мать без снохи стареть, — и давай ругать меня: — Ну, ну, Хафиз, один ты не обабишься, твои ровесники уже с дочками, с сыночками. Чересчур долго так проживешь!»

Потом опять невесту выбирает:

— Вот, говорят, словно красное яблочко, дочь старика Шахия, проворством в деревне одна, сама мила, стройна. «Дураку глотать лишь ложки нехватает!» — как говорит пословица.

Однажды собрались домовничать к Кариме. Девоч пятнадцать набралось. Всю ночь парней выбирали. Ну, и бесстыжая Джемалева Фахрниса! Еще играть не начали «кому кто», а она уже по тебе с ума сходит: «Хафизик — мне. Мой Хафизинька!» А все-таки ты не выпел бедняжке. Тебя три раза под ряд кинули, ты и в три раза Шахеевской дочке Биби-Асме достался. Фахрниса, несчастная, такая грустная стала, что и сказать нельзя! С Шахеевой Биби-Асмой вы уже судьбой связаны, возьми да и пошли свата! Нынче урожай. Бревна есть. До этого ворота и клеть начни. С шумом на свадьбу поедом. Моего отца сватом отправишь. Он начнет, так не может не быть, — твоей будет. Все будет. Тебе забава, а матери сноха.

ГЛАВА II

Старик Джемали не прочь за меня свою дочь выдать. Его дочь Фахрниса, говорят, ко мне равнодушна, это все может быть, но меня несколько к ней не тянет. Вот уже сколько лет мы дружили с Асмой. Об этом все знают, сколько раз едва не заставляли нас вместе. Ежегодно ее отцу свата посылаю, нет ведь: или не суждено, или время не наступило, — кого только ни посылаю, старик отказывается.

— Про джигита ничего не скажу, — отвечает он (как говорят мне), а все-таки сам не соглашается.

Я, джигит, не хуже других. Хвастаться не люблю, слава богу: я и пригож, и статен, сам крепок и здоров. Не косой, как сын Фахрия, не хромой, как Бедри, и пьянством худой славы не заслужил. Известное дело, в компаниях или в гостях одну или две каждый выпьет... Раньше, кажется, не так было, а теперь, — как пошлешь свата, отец невесты насчет калыма начнет спрашивать, а мать и начнет ворчать: «Не большая ли семья, не злая ли свекровь?» У нас с этой стороны, слава богу, семьи совсем нет. Мамаша злой свекровью не бу-

дет, бог даст, она молодуюшку по спине будет гладить. Не знаю, право, почему старик дочку-то не выдает за меня.

Я со стороны слышал, будто бы он говорит по пословице: «Кто женится по любви и выходит замуж по любви — несчастливы будут». «Вот они чего только не переживали, сколько лет крепко друг друга любили, и умыкал он невесту, а теперь живут по-собачьи», — говорил старик, указывая на Тимиркаю с дочерью Камалей.

Тимиркай — мой товарищ, я его хорошо знаю, у них взаимная любовь была, а все-таки отец невесты не согласился на брак, так что дочка сама к жениху бежала. Одна потеха их жизнь! Жена бьет мужа. Тогда Тимиркай, молча опустив голову, допускает все. В другой же раз, смотришь, Тимир сам жену начал бить, за волосы таскает, ногами топчет, а та молча смиряется, не возражает и сидит смирно. Так они часто дерутся до крови... Не пройдет двух часов, они помирились, воркуют, как пара голубков, обнимаются, целуются, слезами заливаются. Бог знает, как у них судьба: их заворожили, испортили, говорят. Это должно быть и правда. Тимир и Маги хотя и так живут, но не всем же так жить, кто женился по любви. О, боже! Как поднимутся руки, если Биби-Асма будет женой?..

ГЛАВА III

Почему-то не могу забыть первое свидание с Асмой. Был редкий урожайный год. У соседки, старухи Бедри, на устье Кюк-Су, притока Белой, была посеяна целая десятина проса. Оно поспело на радость одинокой. Местами так высоко, что запряженная лошадь со всей своей дугой исчезнет; а колосья — словно свою тяжесть поддерживать не в силах, наклоняются, их стебли сгибаются, и так висят они, опускаясь вниз.

Хотя одинокая старуха долго копалась на своей земле, но убрать ее одна была не в силах. С наступлением осени устали утренняя и, боясь загубить просо, старуха Бедри решила наскоро жать. С этой целью она зарезала козленка и устроила «уме», пригласила на помощь.

Хотя и самому некогда, а свой хлеб в поле, но обидеть сироты нельзя. Конечно, отказал бы я Бедри, почесав затылок, но умная, видно, старуха: на вопрос, кто еще пойдет работать, — с Асмы и начала перечислять. После этого я и сам не заметил, как обещался. На ближнюю нашу полбу скотина забралась и нужно было перетаскать оттуда снопы, об этом я

и забыл. Стог был не закончен и остался перед дождем непокрытый. Асма, говорят, Биби-Асма! Старухи, приговаривая — «баловница», хлопают ее по спине, а парни, ее видавшие, с восхищением говорят о красоте, стройности и походке. Давно в сердце жило к ней увлечение, но до сих пор не только ни одного слова с ней молвить не мог, но как следует и видеть ее мне не удавалось. Как только узнал о приглашении Асмы, так что-то предчувствовал на нынешний день. Будто бы и она расположена ко мне, и она на этой «уме» надеется меня видеть, так предугадывал я. Верхом на своей лошади приехал я после всех. К моему приезду парни лишь распрягали своих лошадей. Некоторые возились вокруг телег, подбирая серпы или взнуздывая коней. Недалеко от них девушки и молодухи за овсяным стогом снимали свое верхнее нарядное платье и платки. Мои глаза направились туда.

Боже, какое счастье! Асма заметила мой взгляд и мельком бросила на меня свой сверкающий взор; мало того, кажется, дала знак, шевельнув бровями.

Парни еще все балуются вокруг телег. Сперва Фахри-Джинги, а за ней взрослые девушки, завязавшие платки на затылке и в белых рукавицах, направились к меже, в разговоре над чем-то смеясь.

Женщин — девять, мужчин — одиннадцать. Оказывается всех нас двадцать. В «уме» мужчины — скверные люди, особенно, если они вместе с женщинами: никогда не работают как следует. Хорошо еще девушки пришли и южную половину «Урта-Буразны» уже принялись жать. А мы все еще у телег разбираем девушек: у кого платок красив, у кого серп блестит и которая в нос говорит. Похвал и насмешек отсылаем погромче.

Фахри-Джинги не удержалась:

— Ой, джигиты! Вас одиннадцать, нас девять, мы взяли половину десятины; если закончим свою долю, берегитесь: вам ничуть не поможем, как бы совесть не заговорила, если в козах останетесь! — закричала она.

Сколько мы ни старались возражать, но ничего не вышло: девушки между собою перешептывались и так громко хохотали, что мы невольно покорились и двинулись к просу. Дошли и стали жать уже северную половину полосы «Урта-Буразны», долю, оставленную для нас девушками, погнули вверх. На двадцать серпов только восемьдесят пять метров ширины. Просо высокое, наклоняться особенно низко не приходится,

поясница не заболит. «Ты смотри, я смотрю» — полосу снизу вверх от одного края до другого так и очищаем. Одно наслаждение: это «уме», ей-богу, это не дело, а забава, шалость да баловство! Среди нас есть шустрые парни с хорошими голосами. Ну и бросают девкам-молодушкам острые песни, а оттуда еще более язвительные ответы прилетают. А иногда с ними дружелюбный хор затягиваем. В середине десятины есть высохшее озеро, вокруг него много зеленых ив; до обеда мы должны сжать до этих деревьев.

— Похлебка идет! — раздаются голоса мальчиков.

Поднимаю голову — и что же вижу? Как скоро полдень настал, и как скоро мы уже совсем подошли к ивам!

Мальчики, видно, обманули нас. Они также еще раза два прокричали. Оглянулись на село — никого на дороге, — с новым жаром принялись опять жать. Вот срам перед людьми: сами мужчины, да еще на два сердца больше, а с девочками сравняться не можем! Нам осталось дожать еще несколько сажень впереди, а они, докончив свое, хохочут над нами. Молодушки побойчее подзадоривают нас:

— Эй, козы-козлики, отколь села эти мики, каки-ки!..

И несколько из них, чтобы побольше нас позлить, подходят помогать.

— Эй, не пускай их, следов чтобы не было! — с досады закричал я товарищам. С жаром мы все принялись и в один миг опустошили всю переднюю часть.

— Обед идет! — еще сильнее закричали мальчики.

На этот раз была правда. На верхнюю часть нижней полосы въехала телега, где сидели два мальчика и одна женщина, поддерживая скатертями покрытые кадки.

Сперва девки с молодушками, а потом и мы, бросив свои серпы, побежали по сухому озеру ивовой рощей в сторону телеги с похлебкой.

Сам ли я к этому шел или богом суждено, но что-то есть!

Только что вошел я в ивняковую чащу, взмахом подбрасывая серп на ходу, вдруг предо мной стройная фигура Асмы. Безумное желание прижать эту стройную фигуру охватило меня, и весь разгоряченный — помчался я вперед.

— Асма, Асма, люблю тебя! — невольно раздается мой голос.

Она подумала, кажется, что я приближаюсь к ней для поцелуев и объятий и, как дикая козочка, внезапно вспыхнула и исчезла.

Я снова промолвил ей:

— Люблю тебя!

— Я тоже! — вероятно, мне в ответ едва слышно раздается ее серебристый голосок.

ГЛАВА IV

Больше этого мне и не нужно. С этого у нас начинается любовь. Один бог знает, сколько вышитых платков она подарила мне в эти три года. В игре «Выбор женихов» на мое имя три раза кинули, я и вышел Асме во все три раза. Фахри-Джинги говорит: «Вы судьбою связаны». Я сам тоже что-то чувствую, надеюсь, бог даст, вместе будем.

Только материнское согласие взять трудно. Мать уже состарилась, вероятно, ей хочется быть свекровью, сидеть на почетном месте да наслаждаться ухаживаньем молодушки. Хотя она открыто не говорит об этом, но по ее намекам это видно.

Я один у матери, и мне нечего бояться службы в солдатах. Одинокие, в роде меня, с семнадцати лет женятся. Вот у моего ровесника Гиладжия Намаджанова мальчик уже скоро верхом поедет. У кого есть отец, тот не станет спрашивать, на ком сын хочет жениться, а прямо сам посылает свата к кому хочет, и не заметишь, как время свадьбы наступает. А я сам хозяин. Мы с мамашей и так живем мирно и в согласии. Она без моего желания ничего не делает. А все-таки положение стало тяжелым: мать заметно стареет и в душе вечно скорбит, что в ее пору на почетном месте сидят да трудом молодушки наслаждаются, а она вот еще сама дрова таскает и полы моет... Да перед родственниками неудобно: за двадцать два года все еще не женился, верно, они краснеют и стыдятся за меня. А враги мои хохочут, говорят за моей спиной: «Женился бы Хафиз, да невеста его еще не родилась, ему подождать нужно еще двадцать два года».

Что будет, то будет. Много времени подождал, осталось ждать недолго, только нужно терпеть. «На год, — говорят, — и заячья кожа хватает». До осени подожду, а потом опять свата-краснобая пошлю. Если и так дело не выйдет, не знаю тогда, как и быть.

ГЛАВА V

Мое счастье с «уме» началось. Первое объяснение с Асмой было в «уме», волею божьей там и дело закончилось. Вот на-

ступило время сенокоса. Бывало старики выхвалялись, как они соблюдают пост в это время: оказывается, ничего особенного нет. Слава богу, мы тоже и сено здорово косили и богу не согрешили (пусть это не будет хвастовством), нынче год сравнительно суше, а все-таки от половодья на лужайках воды больше осталось, а потому и сено лучше уродилось. К моему счастью, вероятно, отец моей Биби-Асмы, дед Шахи, пригласил в «уме» покосить лужайку «Хан-Бике».

Недосуг...

Сено наполовину не скошено, а там уже волнуются золотые колосья ржаного поля. Бери серп, хоть сегодня жни! Вот увидишь, не успеешь покос кончить да стог ставить, как с шумом начнут на жатву ходить. В такое время года не только другим в «уме» ходить, но даже для своего дела на части разорваться готов.

Несмотря на это, на «уме» Шаги-Бабая двенадцать кос набралось. Он у нас в деревне из хороших стариков. Его Ибрикая в солдаты взяли, работником остался один старик. И как на зло лучших двух кобыл у них украли. Чудная скотина была, смотришь, не нагладишься: вся деревня его пожалела. Если такие люди делают «уме», не совсем одиноким людям неудобно отказываться. Сверх того у него есть Асма. Джигиты не дали закончить речь свою дедушке:

— Пойдем, пойдем! — раздаются голоса в ответ на его приглашение.

ГЛАВА VI

«Уме», «уме», говорят. Во время поста «уме» оказывается одно пустое слово. В другое время утром чайничаешь да масляными блинами угощают, днем жирный суп с крупой, а постом что.

Хотя пожаловаться нельзя: «сахар»¹ был хорошо приготовлен.

Биби-Асма, любо смотреть, как проворна.

Для того и девица, чтобы все было чисто, все было в порядке и блестяло.

Как сядешь за чай, так прямо восторг: скатерть какая! Самовар, что золото, а насчет чашек нечего и говорить — все рука проворной девки!

Я с вечера наточил и приготовил свою косу.

¹ Ужич.

К концу «сахара» мы, джигиты помоложе, вышли во двор и с легкой руки запрягли в две телеги по две лошади. Какое славное время «сахара»! Как-то легко на сердце и дышится свободней.

В эту пору и старики закончили чайничать. Уселись на две телеги, разогнали лошадей, как бешеных, и выехали из деревни вместе с зарей, приподнимающейся из-под горы, на широкий луг.

Рано утром (еще соловьи не переставали петь) нас встретила бесконечная широкая степь, блестя жемчужной росой.

Не успели двенадцать кос одна за другой сделать и одного поворота полосы, — вот уже, сверкая своим лучом, поднимается и солнце.

На душе светлей. Одно наслаждение, ей-богу, эта пора: на широких лужайках, подставляя грудь, косить сено.

Как махнешь раз косой — все побережье гремит!
Как махнешь другой — словно покорил весь мир!

ГЛАВА VII

День был особенно ясный. Небо где-то далеко, далеко.

Хотя косить по утренней свежести джигитам было только праздник, но в последнее время солнце и утром так жгло, что по лицу, шее, спине пот льется градом, и рубашки уже пристают к телу. У всех засученные рукава, расстегнутый ворот. Общий разговор умолк: это значит, жар побеждает. На небесном своде, ради создателя, ни одной тучи. Приближается полдень. Становится все жарче и жарче. Птицы с открытыми клювами припадают к воде; рыбы, истомившись, собираются под камышами; страдая от жары, опустились растения; небо, как раскаленное железо над головой, спускаясь все ниже и ниже, жжет и жжет наш мозг.

Где уж тут косить!

Уста запеклись от жажды, с каждым дыханьем глотаем пламя.

О, если бы хоть каплю воды — совсем бы стал бодрым!

Увы, нельзя! Не мы одни, так делает вся родина (теперь время поста).

У самого старика Шахия от жары глаза потускнели.

— Ну, дети, ведь мы работаем с самого «сахара», — говорит он: — теперь хоть домой захотите, ничего не скажу, и так много косим.

Но старик Карим и слышать не хотел:

— Полно, какое тут домой, смотри, они железо ногой сломят! Один жребий на двенадцать парней, и не могут скосить, на что они годны тогда? Пока солнце на полдне, полежим немного в тени, а к вечеру и совсем закончим; эти джигиты два дня и две ночи под ряд прокосили бы и то не поддадутся! — говорит он в ответ.

Мы тоже были на его стороне.

Под телегой среди ив построили куленке¹ из одежд и давай валяться под ним.

День все жарче и жарче, земля и небо так раскалились, словно нас расставили перед адскими воротами. Устроили тенистый уголок, но и от него нет толку. Жар отнимает силу, от жажды нет терпенья. Страдая от всего этого, лежим, не знаем, куда спрятать голову.

Вдруг Шаяхмат и Садкай с чего-то разодрались, быстро встали и взялись за косы. «Отчего они так взбесились?» — любопытствовал я и, несмотря на жар, с открытой головой направился туда. Хочу рассказать об этих двух джигитах: на дочери Абдраши Маги-Бедер хотел жениться Шаяхмат. Он замолвил слово через старика Сафа и получил согласие. Задержка была только из-за калыма. Старик Абдраши сверх всех подарков просил еще добавить: один кафтан на вате, фунт чаю и полпуда меду, а жениху казалось это лишним, и он немного колебался. Прослышав это, джигит Садкай вздумал воспользоваться случаем: от своего имени послал в дом невесты старика Хайруллу. «Что просят, отдай, только Маги-Бедер не прозевай!» — говорил он. Хайрулла дал больше условленного и тут же возвратился с подарками от невесты, положив сам за них двадцать пять рублей.

Шаяхмат, конечно, без жены не остался, за него вышла Гильми-Нур, девушка получше той Маги-Бедер, но все-таки, оскорбленный победой Садкай, он всю жизнь не забыл этой досады. Вот уже сколько лет, куда они ни пойдут, везде друг другу ногу подставляют, и сегодня тоже из-за чего-то поспорили между собой, и Шаяхмат стал оскорблять Садкай:

— Чуть повернулся с косой, а уж совсем изнемог, перешагни раза два, совсем бы ты с ног свалился! — насмешничал над ним Шаяхмат.

Садкай вскочил с места:

¹ Шатер, шалаш.

— До самого заката могу не бросать с руки косу! — и тут же он выругался по-русски. Он всегда так делал, когда сердился.

— Едва ли сможешь! Нет, не может быть! — вмешался Валюкей, охотник поддразнивать людей, и тем больше подлил масла в огонь.

Когда мы собрались вокруг них, они совсем разгорячились. Шаяхмат выпячивал свою грудь:

— Не зовите меня Шаяхматом, если не оставлю его за сто сажень.

А тот возражал:

— Перешагни через меня два раза, своего вороного коня за уздечку сам к тебе приведу! — и так ударил кулаком по колесу, что даже телега подвинулась, куленке разрушился, а спящие под ним, приподнимая свои головы, спрашивали полусонно:

— Что, что случилось?

Солнце задерживает дыхание, все тело ослабело, словно тает от пота. Мы снова собрались под тень, починив куленке.

В это время Шаяхмат и Садкай богатырски взмахнули два раза косой — чан-чун! — и пошли косить.

По жребию Садкай должен был начать первым:

— Дети мои, солнце беспощадно печет, сами вы постничаєте, не разгорячитесь понапрасному, можете совсем сгореть, — бесполезно настаивал Шаги-Бабай.

Они уже были неумолимы: пошли и пошли. Сила и ловкость у них одинаковая, только коса Садкай кажется неловкой, я боюсь за него: он сгорит. Сажен семьдесят мало отставали друг от друга. Садкай, кажется, духу набрал: в середине лужайки возле ив стал прибавлять свои шаги и потом и перегнал переднего («дай дорогу!», — наверно, кричал он), тут они чуть не давили друг друга, в конце концов Шаяхмат не выдержал, уступил первенство, а на той стороне лужайки и совсем остановился:

— Боюсь сгореть! — говорил он.

Садкай самолюбив, и слово свое держал крепко.

Для нас раньше это было шуткой, но, когда Шаяхмат упал без чувств, мы встревожились и другие проснулись.

— Ах, молодость, ах, глупость! Зачем из-за пустяка себе гибель устраивать? — срамил старик Шахи.

Несмотря на это, джигит сдержал свое слово, как ни в чем не бывало; он снова, делая круг с косой, подходил к телеге.

Глаза его не видели, язык был покрыт пеной. Наконец дошел он до намеченного места и широко взмахнул последний раз, так что коса слетела в одну сторону телеги, а сам он упал на оглобли.

Мы его окружили. Лицо его от удущья почернело, по всему телу течет пот, язык, заикаясь, чуть бормочет.

— Воды, воды!.. горю, умираю, — гогорил он.

Подали воду. Будет ли пить? — сомневались мы.

Твердый, видно, парень, не пил, а только намочил рукав, преподнес к губам и покрыл свое лицо.

Мокрая тряпка, кажется, немного облегчила его. Шаяхмат мельком взглянул на каждого отдельно и каким-то дрожащим голосом спросил:

— Не знает ли кто-нибудь, нельзя ли мне искупаться?

Более сведущим среди нас был дед Фатых. Он сказал:

— Это уж, родной, как есть нельзя! Слышал я от самих хазратов, от купанья, дескать, пост нарушается. Но все-таки бог милостив, ежели больно тяжело дышится, дитя мое, жизнь дорога, да простит творец наш единый, а потом, когда исправишься, искупишь свой грех, расплатишься шестидесятидневным постом, да спасет сам бог, велика его воля! — так закончил свою речь дед Фатых.

Мы привели Шаяхмата ближе к берегу, а под ним разостлали свежее сено, сверху покрывая куленке. Мокрую тряпку прикладывали на лицо и на грудь. Так и не купался Шаяхмат, хотя язык едва шевелился, хотя дышал так неровно.

Старик Шаги, верно, беспокоился и советовал:

— Здесь Шаяхмату страшно жарко, лучше домой отправить. У нас погреб полон снегу, постелили бы рогожек да уложили бы его там!

Наскоро запрягли замученную насекомыми серую кобылу и отправили вместе с братишкой Асмы (бог даст, мне деверь будет).

День становился все жарче и жарче. Мы, испеченные солнцем и мучимые жаждой, все еще валяемся под телегами.

ГЛАВА VIII

Вон с верховьев Белой поднимается, словно пух, белая-белая, мягкая туча. Вон еще, еще — вторая, третья. Вот эти белые, поднимающиеся одна за другой тучи собираются около первой, словно лебедята вокруг матери, и начинают с нею

сливаться. Один самовар скипеть не успел, а они уже слились совсем, и их толстые пласты приняли темносиний дождевой цвет. Чуть-чуть повеял ветер. Освежая прохладной тенью иссохший от времени широкий луг, тучи двигаются к нам и, уронив лишь каплю, проходят в сторону темного леса.

В этот миг мы выходим из шалаша, поставляем грудь под капли, валяемся по траве и тысячью благодарностей провожаем тучу.

Солнце — с одной стороны, тучи — с другой, — идет светлый дождь.

Маленький, а все-таки легко.

Вот погасает день. Один за другим воспрянули парни. Кто-то, только проснувшись, сонным голосом протягивает: «Ах, Волги, Волги холодные воды, а волны ударяют о плот». Кто-то говорит: «Свежо стало, давай немножко закусим да косить начнем».

— Купать захотелось, Гиляджи, видно, забыл, что пост.

«На хлеб с вареником», ¹ — раздается на это в ответ, и все хохочут.

Уже смеркается. Поднимаются косить.

ГЛАВА IX

Ну, пес, этот Гиляджи! Не может с топором справиться, не умеет грабли сделать, шагу не ступит с косою по-человечески, а на язык словно чорт плюнул!

После дождя, скосивши две полосы, мы у ourselves на берегу Белой воздухом подышать. Гиляджи и обращается с серьезным лицом к сидящему с ним старику:

— Дядя Карим, как изменился у нас Хафиз; видишь, как пожелтел, что с ним? Ведь ты опытный человек, не знаешь ли, чем лечить?

Я не вмешиваюсь, а рядом сидевший Садкай шепнул мне:

— Выдал бы дед Шахи свою Асму, поправился бы с этого дня!

Это он шепнул мне на ухо так, что даже самому старику Шахию слышно было.

— Вовсе я не пожелтел: одним ударом плеч любого из парней свалю, настолько-то крепок я; просто от нечего делать они болтают.

¹ Творог.

Но, видно, выдали меня мои глаза, и некоторые из товарищей заговорили:

— Смотрите, что с Хафизом, — он готов всех нас глазами съесть.

Я продолжал молчать. А этот Гиляджи опять пристал:

— Дедушка Шахи, если я в верхней одежде переплыву через Белую в этом самом широком месте, а ты еще и до трех сот досчитать не успеешь, выдашь ли свою Асму?

Гиляджи не переставал заводить такие разговоры, а потому старик не сердился, а только намеренно или бессознательно, быть может, по воле судьбы, встал и бледнея произнес дрожащим голосом:

— Асма да Асма, за вас за всех! Одну Асму за скольких я выдам? Вот вам старик Карим, поборитесь-ка с ним косой: от кого он отстанет на одну полосу в двух покосных поворотах, тому и Асма будет!

— Правда, выдашь? — раздается чей-то голос.

Не сознавая, что со мной, я выбежал и схватил руку дедушки со словами:

— Не берешь обратно обещание свое? Выдашь?

Старик волновался и говорил:

— Из мухи слона делают, из спички бревно!

Он верно понял мои мысли, побледнел и отшатнулся, но все-таки не взял назад обещания.

— Слово, как стрела, вылетит и не поймаешь. Возьми косу! — продолжал он мне.

Коса старого Карима никому еще в жизни не уступала, проворна была его работа.

Недалеко от нас есть деревня «Бюре-баткан». Бывало, богатые люди отсюда на сенокос поденщиков нанимали. Крепкие мужчины, здоровые парни — человек сто со стороны набиралось. Им пятьдесят копеек, рубль платили, а старику Кариму два рубля в день, за то, что он косит первым, за то, что он показывает пример быстрой работы, при этом и угощали, как гостя. Прошло много лет с тех пор. Тогда Карим был, как дуб, теперь — полуседой старик, а все-таки у нас первым косарем считается. Не слышать по округе, кто бы мог его догнать.

— Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь. Возьми косу!

Лишь закричал старик, товарищи окружили меня с любопытством.

«С кем бедный тягается!» — вот что читаю я по насмешливым улыбкам.

— Не будь дураком!

— Не будет он Каримом, если тебя пропустит! — промолвил другой.

Я не слышу ни одного слова, а в глазах темнеет.

«О, творец, пощади! Будь сам милостив!»

Старик воткнул на кочку косу, с полвершка ширины, свою ровесницу, и взмахнул два раза: «чан-чун!», — произнес каким-то волнующимся голосом:

— Эх, джигиты. Помогите, господи!

Голос его раздался по широкому лугу Белой, а Карим как бы поплыл по поясу в траве, словно движимый неведомой силой.

Я тоже, весь дрожа, наточил косу, засунул брусок в голенище и, уповав на волю божью, пошел вслед за Каримом. А косари остались наблюдать нас с крутого берега Белой.

ГЛАВА X

До первого поворота я ни разу не отставал от старика.

Не то Карим постарел, а может быть Хафиз со своей силой мог растоптать тысячу Каримов? Уж что-нибудь да есть!

Во время второго поворота, когда снова подошли к берегу Белой, старик заметно ослабел; а я между тем все более и более приближался, едва не наступая на его пятки. Дошли до середины луга, я выпрямился, взмахнул два раза косой, очищая все вокруг ног старика.

— Разрежешь себе ногу, отстань от меня! — раздается мой голос.

Старик не хочет скоро поддаваться, с последней силой еще несколько раз бросается вперед. Но нет: что только ни делает, а должен уступить! Я снова выпрямился, последний раз взмахнул косой, опустошая все, что есть около ног Карима, и закричал голосом, готовым раздавить и уничтожить в один миг:

— Бросай косу, дай мне дорогу!

От этого крика я еще более расхрабрился, жилы мои вздулись, тело не может выдержать избытка сил.

Моя смелость, кажется, давит грудь Карима.

— Джигит, видно, ты родной, — промолвил он и уступил мне место.

Я не смотрел на старика. Идет он за мной или нет — тоже не заметил. Жилы мои вздулись, кровь готова была выступить наружу. Коса, точно разрушая, полетела одним взмахом,

схватывая траву с какой-то особенной силой. Знаменитый по всей округе Карим заметно стал отставать от меня.

Торжественно, поднимая шест, шумно встретил меня с крутого берега народ.

— Мужчина не скажет два раза! — говорил дед Шаги и сдержал свое слово. — Теперь воля бога, — подтвердил он.

И выдал за меня Асму.

К нашему счастью, был урожай. На берегу «Юлдаш-Куль» было посеяно у меня полторы десятины овса, он тоже уродился очень хорошо. Как только получил я обещание старика, построил клеть и ворота. Молодого черного жеребца теперь я кормлю дома: овса много, пусть жиреет, ведь нужна будет красивая лошадь к молодухке ездить.

После уборки хлеба вся деревня с шумом мою свадьбу сыграла.

Как человек одинокий, не ждал я лета, а с самой зимы Асму в свой дом поселил. Мы живем припеваючи. Вся деревня на нас радуется.

Рада и моя матушка. Теперь в недалеком будущем младенца ждем. Вчера всю ночь без сна с Асмой об этом только и толковали.

Я говорю:

— Пусть будет дочь, похожая на тебя.

А Асма желает сына, похожего на меня.

— И дали бы ему Тимир-Булат! — говорит она.

Кто будет, тот и будет.

Пусть только родится со здоровьем и счастьем.

1914 г.

СТАРЫЙ БАТРАК

(Авторизованный перевод)

I

В этот год возникли сразу два затруднения: урожай был удивительно хорош, но, как на зло, и осень наступила слишком рано.

При всем нашем старании мы не успели перевезти на гумна весь хлеб, а сентябрь уже кончался. В прежние годы, бывало, в это время гумно полнехонько большими скирдами, и ты смотришь на них с радостью и весело готовишься ко встрече с холодной зимой: запасает дров, обновляет кровли, за-

мазывает и затыкает трещины и щели жилья, исправляет окна, чтобы удержать тепло, чинишь телеги, обмолачиваешь яровые хлеба, просо и гречу и наполняешь этим клеть; кроме того еще, чтобы купить нужное по хозяйству, свезешь в город на продажу один-два воза хлеба. Работаешь день и ночь, не зная усталости, а на душе отрадно и легко.

А нынче... Нынче ложись да помирай! Поля, как бы оставленные на произвол судьбы, полны еще необранными кладушками хлеба. От беспрерывного дождя, лившего в течение месяца, верхние снопы в кладушках начинают пускать ростки, а нижние гниют. Еще немало хлеба портит скот. Недалеко от межи были у меня две полосы пшеницы. По милости божьей, так хорошо они уродились, и мы уже думали, что нам нынче ржаного хлеба совсем и пробовать не придется, а между тем скот и до этих полос добирался. Мы уже несколько раз пробовали загонять оттуда к себе коров, но толку от этого не было. Их хозяева (негодные!) приходят и под тем предлогом, что ребяташки их сидят без молока, требуют своих коров обратно, так легко хотят сосчитаться со мною! Но, нет, держи свой мешок, ишь какой у тебя ум золотой! Пусть, мол, их коровы растопчут мою пшеницу, подобную агату, а я даром возвращу им скот. А то — дети сидят без молока!.. Если так нужно тебе молоко, не пускай бы коров на чужое поле, вперед умнее будешь! Вот раз приходит мужик за своей коровой, два приходит и, не видя уступки с твоей стороны, наконец обругает тебя, как собаку, говоря: «Не век же будешь держать ее у себя», и уходит домой. Проходит день, другой. Корова худеет, и каждый раз, увидя тебя, смотрит с такой мольбой в глазах, будто хочет сказать: «Выпусти меня». Наконец потеряешь всякую надежду на выкуп коровы хозяином, начинаешь жалеть ее, думая: «В чем же виновато это животное, и какая польза держать ее в голоде?» — и выпускаешь.

Когда ты ходишь озабоченный всем этим, не находя покоя своей душе, являются еще новые препятствия. Солнца почти не видно, небо обволакивается серыми тучами, которые опускаются к горам и, как бы пронизывая их, льются вниз беспрерывным дождем.

Но вот будто немного яснее, и ты, надеясь на это, не успеваешь даже запрячь лошадь, чтобы выехать в поле, — уже начинает моросить мелкий дождичек. «Пусть лучше гниет на гумне, чем остается в поле», думаешь ты про свой хлеб и, не обращая внимания на дождь, несмотря на усталость лошади,

порчу телеги и сбруи в такую слякоть, перевозишь хлеб. Хорошо еще, что лошади здоровы и есть чем их накормить: и во время пути туда и обратно, и во время загрузки и выгрузки они не отрываются от снопов. В прежние годы во время такого ненастья сидишь, бывало, спокойно у себя дома, ухаживая за лошадьми да поправляя им сбруи. А нынче какой уже отдых лошадям? Только и гоняешь их, несмотря на слякоть.

Бывало, в иное-то время свезешь возов пять в день, теперь же раз шесть или семь гонишь лошадей до самых дальних полей. Но старик-отец остается все же недоволен. Когда ты, выбившись из сил, весь промокший, приходишь домой, он сердито нахмуривает брови.

— Зря только болтаетесь и мучаете лошадей. Руки, что ли, сгнили у вас, чтоб постараться немного? Или же, приезжая туда, засыпаете? Пока вы ездили раз, сыновья Джемалея успели уже по два воза свезти! — так начнет он пробирать нас!

Не люблю я перечить старикам, не трачу слов напрасно. Не отвечая ему на слова, вскакиваю на скирд, братишка подает мне снопы, и мы мигом опорожняем четыре-пять телег; затем суем за пазуху ломоть хлеба, несколько штук картошек и опять несемся в поле. Бедная матушка, жалея нас, ставит самовар, желая согреть горячим чаем озябших и промокших сыновей. Но при виде отца, сердито нахмурившего брови, она тоже молчит, не смея заикнуться и о чае. Не до чая: нужно во что бы то ни стало скорей перевозить хлеб. Лишь иногда на ходу вольешь в себя одну-две чашки, а чаще и один хлеб с картошкой прекрасно сходит.

Благодаря беспрестанной езде, недостаточному сну и дождям мы совершенно потеряли человеческий облик: все в грязи, лицо посинело и покрылось желтоватым пушком. Про дорогу и поминать нечего: грязно, скользко, мосты испорчены. На каждом пути мучаешься тем, что обрываются или веревки от хомута, или тяжи, или же ломается телега. Особенно мучительно перевозить снопы со стороны крутой горы: дорога там неровная, везде ямы да бугры. Телега, как только скривится на них, начнет скрипеть, как полозьями саней: — тз... тз... и покатится под гору. А мы ни на что не обращаем внимания и все только мчимся.

II

Говорят: «ты спешишь, а он опрокидывается». Пока я, забывая про еду и питье, работал, готовый разорваться на сорок

частей, братишка упал с телеги и сильно ушиб себе правую руку. На перелом не похоже, но рука посинела и распухла. Сам он, не обращая на это внимания, хотел было поехать со мною, но я отказал ему наотрез: не остаться ему безруким из-за этого, пусть побудет дома, пока рука заживет, а я и один перетаскаю. Я решился к вечеру с четырьмя лошадьми ехать за снопами. На овес на Марджином поле начинает нападать скот соседнего села. Нужно сегодня же загнать его к себе. Опять собираются тучи. Отец, ранее ворчавший за неповоротливость и всегда находивший наши возы недостаточно нагруженными, сегодня и то почему-то смягчился.

— Лошади изнурены, надо бы ездить лишь за ближним овсом, — говорит он.

Я пропустил его слова мимо ушей, встал ногой на телегу и как угорелый помчался со двора. Лошади у нас недурны: и на-привязи (за телегу) и без вожжей не отстают от тебя.

— Айда, скотинушка, — только и крикнул я им, когда братишка растворил перед нами ворота.

И они вереницей летят за мной.

Место моей поездки находилось приблизительно верстах в шести. Когда я выезжал, отец совершал омовение и икенди.¹

Видно, я сильно погнал лошадей: еще и солнце не успело скрыться, а я уже успел доехать до овсяного поля. В прежние времена надолго бы затянулась эта работа: пока ты там загрузишь да укрепишь, а теперь нагрузка снопов на нынешние телеги только забава одна. Как только приехал, мигом успел загрузить четыре воза, и вот уже двинулся в обратный путь.

Жалея лошадей, я сначала хотел было там переночевать, но тучи, несущиеся с юга, напугали меня: побоялся промочить снопы.

Дома же, если не успеешь выгрузить, поставишь хотя бы пока под навес. Поехать-то домой поедешь: дело это привычное. Только вот на пути есть гора «Яман-там»;² подняться на нее и в сухое время не легко, а в эту слякоть взобраться туда равносильно переезду через «мост Сирата».³

¹ Третья молитва из пяти, установленных для магометанина на один день, приблизительно за час до заката солнца.

² Дурной камень.

³ Мост на том свете — тоньше волоса и острее меча, по которому могут пройти в рай лишь праведники, а грешники падают в ад.

Сегодня после полудня не было дождя, и я ехал поэтому, утешая себя мыслью, что дорога успела немного обсохнуть и не представит особых трудностей для лошадей. Однако надежды мои не оправдались. Когда я подъехал к горе, там уже целая толпа народа выбивалась из сил, не зная, как подняться наверх.

Застрел здесь и парень муэдзина Садыка Баликей со своими тремя лошадьми, а ими он славится на всю деревню. Впереди него остановилось еще довольно много лошадей. Собравшись все вместе, мы повели по одной каждую лошадь. Дошла очередь и до Валикея. Я был вполне уверен, что его лошади легко подымутся на гору. Видно, устали, бедные, от непрерывной возки снопов: вначале мы их погоняли, дело не вышло, тогда принялись подсоблять им сбоку — тоже не помогало. Среди нас был и работник богача Ахмия, старый Шаги. Он посмотрел на выбивающихся из сил, старающихся подняться на гору и все же скользящих назад лошадей и спросил:

— Где же, Валикей, твоя черная лошадь? Она бы поднялась.

— Она там позади.

Дедушка все твердил свое:

— Иди, выпряги ее оттуда и впрягай в одну из передних телег, она осилит.

Чтобы телеги не скатились вниз под гору, мы подсовывали под колеса деревянные. Наскоро впрягли и черную лошадь в переднюю телегу. Ну и сила же в этом животном! Хлестнуть ее не успели, а она безо всяких усилий уже понеслась в гору.

— Ведь я говорил вам! Одно усилие этой твари стоит тысячи рублей. Недаром она ожеребилась от кобылы старого Гирея, — произнес с какой-то глубокой гордостью старый Шаги.

Пока мы впрягали черную лошадь в остальные телеги, дедушка Шаги успел порассказать целую историю о славных белых кобылицах старого Гирея.

Покончив и со своими тремя телегами, Валикей снова впряг лошадей и поехал домой.

— Давайте провозем и ваши телеги, — предложил было он нам, но дедушка и слушать об этом не хотел.

— Знаю я твоего муэдзина; он не муэдзин, а мордвин, скряга-мордвин. И то еще немало попадет тебе от него за опоздание. Лучше поезжай, не останавливаясь. Мы и сами вывернемся как-нибудь.

Я был такого же мнения: слов нет, черная лошадь сильна необыкновенно, но ведь из этого еще не следует, чтобы она перевозила снопы всего села. У старика Шаги две, у меня четыре, разве можно заставить одну черную лошадь перевести их все? У меня самого есть крупная лошадь по кличке «Ахунд», думаю, что она не уступит черной лошади Валикея. Если не смогут подняться, то и переночевать в поле — привычное дело.

По отъезде Валикея мы принялись подгонять своих лошадей в гору; впереди шли лошади старика Шаги. Лошади его слишком слабы, да и неудивительно: может ли много сделать для них наемный работник? Его хозяин, Ахми, ужасный скряга: за лишний сноп овса, отпущенный им, он поднимает целый скандал. Сомневаюсь, чтобы эти лошади могли подняться. Но все-таки «лучше стрелять, чем лежать», и мы стали подгонять лошадей. Спустили чересседельники на них, а сами взялись помогать им сбоку. Нет, ничего не выходит! Под нашим криком и понуканием лошади делают один только шаг и начинают скользить да падать на колени.

— Все равно толку нет, напрасно только мучаем животных. И завтра ведь день в нашем распоряжении, — ворчит дедушка, который лишь благодаря моему совету решился двинуться, но сам всем существом своим был против этого.

Мне не хотелось так скоро сдаваться. Несмотря на отговоры старика, я выпряг своего Ахунда и запряг его в переднюю телегу Шаги. Вышло несколько не хуже Валикеевой: лошадь мигом понеслась вперед.

— Фу, ты, проклятый! Разве у скряги может быть хорошая сбруя? Только было поднялась лошадь на гору, как вдруг оборвались тязи с левой стороны, а за нами какие-то веревки, которыми была прикреплена у основания оглобля, и телега со всеми снопами стремглав полетела под гору. Хорошо еще, что она была слаба, иначе она поволокла бы с собой и мою лошадь.

— Провались ты в преисподнюю! — обругался я с досадой. Старик, несколько не удивляясь, спокойно начал пробирать меня:

— Ведь говорил я тебе, Сафар, что напрасно стараешься. А ты горячишься по своей молодости.

Что же теперь делать? Нечего тратить слова на пререкания со стариком.

— Ладно уж, дедушка, вышло по-твоему, — заметил я ему

и, отведя лошадей своих в сторону от дороги, стал их распрягать.

Ночь темна. Не станешь ведь в такое время вытаскивать полетевшую куда-то в яму телегу. Придется нам здесь ночевать. Трава замечательная, пусть лошади наедятся вволю. Черная кобыла любит побродить: несмотря ни на какие короткие пути и ни на какой голод, не обращает внимания на подножный корм, исчезает куда-то, а за нею и остальные.

Так как я не думал, что придется ночевать, поэтому со мной ничего нет: ни пут, ни привязи. Но за этим дело не станет: снял с удил повод, — хватило на все, и на путы, и на привязь. Кончив это дело, я подошел к телегам. Мой старичок Шаги не успел еще отпрячь и одну лошадь.

— Как дела, дедушка? Что это ты так долго возишься?

— И не говори, дитя мое, Сафар! Старость не радость, оказывается.

У гнедой кобылы спуталась веревка от хомута, она был свита из пакли и теперь вся разбухла от дождя.

Мне отчего-то стало жаль старика. Ахми-баю бога бы надо бояться да людей стыдиться, чтобы такого дряхлого семидесятилетнего старика в такую слякоть к ночи посылать за снопами.

Хотя бы лошади и телега в исправности были, другое бы дело тогда.

— Ну-ка, я сам попробую, — сказал я и, не спрашивая у Шаги разрешения, схватился за хомут его лошади. Старик смущенно попятился назад. Меня опять разозлило: то, над чем копался старик, оказалось опутанным тоненькими бичевками, распутать их не было никакой возможности, не только под дождем, но и в ясный день.

— Дедушка, я срежу это, — сказал я.

Старик смутился:

— Завтра как же мы опять исправим?

Не обращая на него внимания, я взял да срезал. Скоро распрягли и другую лошадь старика. Старые люди всегда запасливы. В телеге старика оказалось двое пут.

— Мои лошади далеко не отходят. Если есть подножный корм, они на него только набрасываются, — заметил старик, вынимая путы и делая их довольно свободными.

Проследив некоторое время, куда направятся лошади, мы подошли к своим телегам.

Ночь становилась все темнее и темнее, тучи сгущались, и

тихо, но беспрерывно моросил осенний дождь. Мои чулки и лапти промокли насквозь и полны воды. На мне лишь один камзол, и тот промок до последней нитки. Все это раньше за работой я не чувствовал. Когда я подошел к телеге, чтобы лечь спать, меня охватила дрожь, как в лихорадке. Ни у одного из нас нет и спичек, чтобы развести огонь из более сухих снопов и погреться. Пропала и эта надежда. Я вытащил снопы посуше и покрыл ими сначала дрожащего от холода старика, затем и сам обложился ими. Под соломой мокрые чулки и камзол стали немного согреваться. Собираюсь уснуть, дедушка почему-то не может. Вначале он спросил о чем-то, затем лег, обернувшись в мою сторону.

Хотя я знал старика и раньше, но мне еще ни разу не приходилось встречаться с ним так близко и беседовать так долго. Гора Яман-Таш познакомила меня со стариком как следует.

IV

В большом селе, где в каждый понедельник открывается многолюдный базар и где торгуют хлебом и лесом местные богачи, хозяева высоких домов и сытых породистых лошадей, в этом селе, как бы стесненная всем этим богатством, грозным бичом бедноты, в стороне около моста уютилась жалкая избушка-мазанка. Тихо жил в ней старый лапотник, дедушка Шамси, со старухой Гайни, давнишнюю пряхой. Каждую осень они старательно обмазывают свою ровесницу-избушку, с лета начинают таскать на своей спине из ближнего леса хворост на топку, вместе жнут свое просо, а зимой в ясный день молотят его, подостлав на подстилку одежду. Старики неприхотливы и богомольны, довольны тем, что бог даст. Кроме лаптей старик зимою вил веревки и вожжи, а летом с длинными удилами ходил на рыбную ловлю. Заработка хватало на чай-сахар. Старуха Гайни пряла шерсть богачам, наматывала им мотки или домовничала у них, когда не было хозяев. Получала за все молоко, творог и масло. У Шамси и Гайни было четверо детей, но в живых осталась одна лишь Минли-Гюль. Выдали ее замуж, но недолго она побыла в семье, умерла через два года, оставив маленького сынишку Шагибека. Зять оказался каким-то блажененьким и никудышным. По смерти жены он бросил все, даже засеянные поля, и сгиб куда-то, бесследно пропал. Шагибека старики взяли к себе. Они в нем души не чают, ласкают сироту и делятся последним куском.

Когда Шагибеку только что исполнилось восемь лет, умер дедушка Шамси, и трудней стало жить старухе. Но про Гайни хорошая слава в селе, и ее охотно зовут богачи к себе жить: «Будешь пряхть шерсть, ухаживать за птицей. Будешь сыта и одета» — говорили они.

Гайни не согласна, она не хочет покинуть свою мазанку, где прошла ее жизнь со стариком и детьми, это значит, думает она, оскорбить память усопших. Она берет к себе жить еще одну одинокую старушку и остается. Часто, покончив дела по дому и помолвившись, она берет Шагибека и идет на могилу мужа и подолгу плачет над ней. Была раньше у стариков в хозяйстве лошаденка, но ее пришлось продать на похороны Шамси. Теперь у Гайни осталась лишь большая хорошая коза (всегда она идет впереди стада) да старая кошка, вечно дремлющая на печи. Тихо живут внук Шагибек, кошка, большая коза, старушка-сожигельница и хозяйка Гайни. Мало говорят старушки, а в беседе вспоминают старика Шамси, похвалят его умение хорошо и крепко плести лапти, поговорят и о пропавшем зяте, который был хотя и недалеко, но святой души человек. У Гайни пока особой нужды нет, она и видит хорошо и в руках сила еще есть.

На другой год после смерти старика один из сельских богачей, Гадль-Гирей, был как-то замешан и привлечен к суду по делу об убийстве. Он дал обет: пусть только его оправдают, он посеет старушке Гайни просо. К счастью старушки, он был оправдан и сдержал свой обет: каждый год он неподалеку от села сеял для Гайни просо.

Часто ходит Гайни посмотреть на свое просо: растет ли оно, не портил ли его скот. Гайни заботливо полет просо, и как только показываются всходы, она ставит пугало, вроде мальчишка, от уток и гусей.

Однако Гайни занята не одним мирским делом, она готовит себя и к той, загробной жизни; давным давно Гайни запасла себе холст на саван и завещала свои вещи на случай смерти: большую козу отдать за упокой души, черную курицу на то же, когда понесут ее на могилу, белую — женщине, обмоющей ее тело, а чистое белое платье, которое Гайни носила лишь по праздникам, той, кто оденет ее в саван. Сберегла Гайни серебро и медяки, чтоб роздали их над ее могилой. Далеко спрятала Гайни эти монеты, чтобы не истратить их раньше времени. Так за делами и заботами жила Гайни и так она готовилась к смерти.

V

По смерти Шамси Шагибек еще два года живет со своей бабушкой. Ему уже десять лет. Как-то летом богач Ваймирза позвал Шагибека к себе на бороньбу. Тихий, смывленный мальчик понравился богачу, и тот оставил Шагибека у себя работником. Пятнадцать лет прослужил Шагибек у хозяина; когда Шагибеку исполнилось двадцать пять лет, дела хозяина расстроились, и он уже не мог держать работника. Шагибек нанялся к отцу нынешнего хозяина, Ахми; здесь без перерыва работал он зиму и лето и не менял уже места до теперешнего времени. Отец Ахми очень привязался к нему и почти всегда держал при себе. Правда, иногда, разгорячившись не в меру, и поколачивал Шагибека чем попало, но это редко случалось. После старик раскаивался и старался загладить свою вину перед работником. Хозяин бывал довольно щедр к Шагибеку: каждый год давал ему большой воз хлеба в Шеир и всякие обноски во время поста Фитр. Пока был жив старик хозяин, Шагибек выделялся им среди других работников. Дело этим не ограничивалось: считаясь с почтенным возрастом Шагибека, хозяин хочет освободить его от работ по хозяйству и назначить присматривать только за пчелами. К несчастью Шагибека, хозяин не успел выполнить своего намерения: он умер, оставив все свое имение, а заодно и Шагибека, единственному своему сыну Ахми. С этого времени в жизни Шагибека началась резкая перемена. Покойный хозяин, бывало, уважая годы Шагибека, поручает ему лишь легкую работу или же заранее спрашивает: «Эй, ты, ровесник, посмотри-ка: сможешь осилить такую работу? А не то я поручу другому».

От такого обращения Шагибеку даже тяжелая работа казалась легкой. А вот этот молодой хозяин Ахми совсем не подходит на отца и ставит Шагибека наравне с другими работниками. Под силу старику работа или нет, новый хозяин не считается с этим, заставляет все делать, а устал ли старик, не спрашивает. Ему и перед соседями не стыдно послать старика за снопами, вот как сегодня — и в дождь и в сыкость.

Если бы жив был старый хозяин, то дедушка Шаги в такое ненастье спокойно отдыхал бы дома, а этот безбожник, сопляк-мальчишка Ахми, его, старика, ровесника своего отца, ставит с другими работниками на одну доску...

Старик, с которым мне пришлось переночевать вместе в поле

по случаю грязной дороги по Яман-Ташу, был тот самый дедушка Шагибек.

VI

Я знал с детства этого смиренного, неразговорчивого старика, среднего роста, с вялой тяжелой походкой, с карими глазами на рябоватом лице, обросшим мягкой желтоватой бородкой и с всегдашним выражением кротости и прямоты. С ним я встречался и раньше, несколько раз приходилось вместе искать лошадей. Хотя эта долгая беседа с ним ясно рисовала мне картину жизни этого несчастного существа, вечного батрака, однако я почему-то не почувствовал к нему особенной жалости. Я почему-то никак не мог представить себе, что он также был ребенком, юношей, мужем и уже потом стариком. Казалось, что и на свет божий он явился в этом самом белом изорванном армяке, обутый в те же бабы лапти, с тем же кнутиком за поясом и в той же шапке на голове, с той же белокурой бородой. Казалось, что он и свой век проживет таким же и таким же предстанет перед богом, говоря: «Вот я, твой раб Шаги, делай со мною, что хочешь!»

На селе каждый чем-нибудь славится: кто дурным характером, кто добрым, кто воровством, кто благочестием, а про Шаги и сказать нечего.

Если нет Шаги, его никто и не вспомнит и никаким словом не помянет. Раз только на одном собрании кто-то осудил Шаги за безбожие и невежество: «Ведняга, он не умеет даже молитвы читать как следует, а в мечеть, кроме двух гаидов, даже в дверь никогда не заглядывает».

Мне думается, что если бы он умер где-либо в стороне, никто бы, пожалуй, и не потрудился его искать, все скоро позабыли бы Шаги.

В один из ясных и теплых летних вечеров я возвращался с выгона, пустив лошадей. Навстречу мне приближалась какая-то телега с усталыми лошадьми. В этой лениво двигающейся телеге кто-то, лежа на боку, тянул под ленивый топот лошадиных шагов тоскливым голосом длинную заунывную песню. Эта тоска запала в мое сердце, язык не поворачивался, чтобы окликнуть певца, я замер на месте.

Ветры с Киблы расчесали
Гриву лошади гнел я,
На хозяина работать —
Счастье загубить свое.

Душупадрывающий напев захватил меня. Кажется, и сам певец забыл обо всем в мире. По крайней мере, проезжая мимо, он не заметил меня. Этот певец был старый батрак, дедушка Шаги.

Каждая новая встреча с ним напоминала мне теперь о том вечере и моем чувстве; теперь я хотел перекинуться с дедушкой Шаги каким-нибудь теплым словом, приласкать его. Но что ему скажешь? Как приласкаешь? Сердце не камень, вдруг неуместно начнешь свою речь и только заденешь сердечные раны старика? Впрочем, говоря правду, это чувство являлось во мне, когда я видел старика Шаги издали; тогда я вспоминал об его песне. Рядом же он казался мне бездушным существом, бог знает зачемдвигающимся и вообще не обладающим никаким сердцем.

Жизнь забыла его и, может быть, не встречая ни в ком сочувствия, он и сам позабыл об этом сердце и его ранах? Боже мой! Думая об этом старике, я, кажется, и сам начинаю бредить.

VII

Что там ни говори, а жизнь есть жизнь! Полная забот, она забывает тебя, заглушает и самые хорошие чувства твоей души. Сегодня под влиянием того, что братишка ушиб себе руку, а отец встречал меня, грозно насупив брови, встреча со стариком не вызвала знакомого чувства, а тут еще такой трудный подъем на Яман-Таш с мучениями для лошадей и хвастливость старика, когда подтвердилось его мнение о черной лошади Валикея. Но когда оборвались тяжки у подводы старика, и его телега скатилась под гору, когда я потом уже успел надеть путы четырем лошадям и отпустить их на привязи на волю, а старик еще копошился с одною лишь лошадью, не в силах развязать веревку спутавшегося хомута и потом произнес жалким голосом слова: «Эх, старость, не радость! Что же ответим завтра, если сейчас веревку отрепем от хомута?». — Я снова почувствовал к нему прежнюю жалость, в моей памяти встал тот лунный вечер и тоскливая задумчивая песня старика. Охваченный знакомым чувством, я подошел к телеге старика и обложил его, лежащего под кузовом, сухими снопами, и старик показался мне еще более жалким и беспомощным.

Дождь моросит... Крутом непроглядная мгла. Промокшая одежда и холод мешают спать. Видя молчание старика, я сам спросил его:

— Что, дедушка, молодой-то хозяин очень строг к тебе? Вопрос разбредил сердечные раны старика. Не отвечая на мои слова, он повернулся ко мне лицом и с несвойственной ему живостью заговорил. Будто струя крови неудержимым потоком вырвалась из открытой раны.

Человек — ведь такое существо, что как бы ни забила жизнь его душу, ни притушила его чувства, бывают, однако, и у него такие минуты, когда он, нечаянно задетый за больные раны, пробуждается и душой и сердцем. То же самое, кажется, случилось и со стариком. Речь о молодом хозяине я начал с ним за неимением другого слова к разговору, а между тем это заставило ожить в нем давно уже схороненные в глубине души и забытые мысли.

— И не говори, мой родной Сафар! Уже нет прежних стариков... Старый хозяин, бывало, называл меня своим ровесником и ласково трепал по спине. А этот очень гордый... Легко сказать, а ведь парень на моих руках родился. Раз покойный хозяин призвал меня к себе и говорит: «Кажется, жена моя родить собирается, иди-ка, ровесник, сбегай за старушкой Фархи!» Я побежал и ног под собой не чуял, в одну минуту привел Фархи... Целый день бегал туда, сюда... От кого-то получал подарки за весточку о поворожденном. Когда он стал подрастать, наделал ему игрушек. Таскал его на руках и на спине возил. «Дедушка, носи на руках! — говорил он бывало, садясь ко мне на шею, и со словами — больно? больно?» — кусал мои уши. Против старого хозяина нет у меня слов. Когда я нанялся к нему, достояние его было среднее. Здорово поработал я на него. До самой смерти он и сам постоянно твердил: «На эти дома, на это обзаведенье потрачены труды и старика Шагибека, стало быть, есть и его доля». Умирая, он просил домашних не обижать меня, не маять на тяжелой работе через силу. Видно, на мое несчастье жизнь его была так коротка. А этот кичится своим богатством. Ходит, как индюк, задрав свой нос. Подумаешь — век проживет. От него не дождешься ни уважения к твоей старости, ни добрых слов. Разве старый хозяин послал бы меня в такое несчастье за снопами?

Старый работник долго жаловался на молодого хозяина, и я не знал, что сказать ему. А старик продолжал выливать свою душу в сетованиях. Эта сегодняшняя жестокость Ахми особенно обидела старика.

— Сегодня, — рассказывал он, — видел во сне свою ба-

бушку, старую Шамси. Будто она чем-то недовольна мною и упрекает меня.

Проснувшись, опечаленный сновидением, Шаги хотел было взять шакирда¹ Гильмана и пойти с ним на могилу бабушки помолиться за упокой. Но молодой хозяин его не отпустил. «Старый дурак, — говорил он ему: — или ты вышел из ума, если в такой рабочий день, когда не успеаешь за что взяться, вздумал ходить по могилам? Вот кончишь работу, тогда по мне хоть и не возвращайся с этой могилы, ложись в нее навеки».

Сколько ни упрашивал его старик, обещаясь вернуться тотчас же и самовар не успеет вскипеть, — хозяин был неумолим. Никогда раньше не упорствовавший старик хотел было настоять на своем, но хозяин топнул ногой и крикнул на него: «Не ори, старая собака: если дашь своему языку волю, то и сам получишь должное!»

При этих словах из головы старого работника вылетели и бабушка, и ее могила, и сам он упал духом.

— Нет, дитя мое, если бы я был счастлив, не стал бы рабом раба, — говорил старик, — теперь меня старость забила, отчего и стали гонять старую собаку со двора. Если бы у меня был теплый угол, стал бы лапти плести и на это прожил. Есть ведь и будущая жизнь. Умру ведь, не умея как следует молиться. С каким лицом предстану пред всевышним, какой ответ я дам ему?

Я вспомнил, что отец мой, строгий к работе, всегда хорошо относился к обиженным старикам и сиротам. Я надеялся, что и тут он так же поступит, почему и сказал Шаги:

— Дедушка, ты бы переселился к нам! Отец мой хорошо относится к старым людям. Летом ты немного работал бы у нас, а зимой спокойно отдыхал. Мы никогда бы не дали тебе тяжелой работы.

Старик не знал, что сказать на это, он только промолвил:

— Отец-то твой хороший человек.

На этом кончилась наша беседа. Старик повернулся на другой бок, а я начал засыпать.

Но спать в эту ночь мне было не суждено: только что я начал дремать, не знаю — наяву или во сне — вдруг услышал чей-то плач навзрыд. Сон мой пропал. Прислушиваясь, я понял, что это не сон, а явь, и меня обдало холодом: плакал мой спутник, старый работник — дедушка Шаги.

¹ Учащийся из медресы — бурсы.

За горой занялась заря. Я потерял всякую надежду на сон, тихонько встал и сходил посмотреть, не отошли ли далеко лошади.

Пусть полежит старик, может, и выспится немного, хоть отдохнет малость.

Я взял из своей задней телеги железные вилы и подошел к той, скатившейся с горы.

Тучи рассеивались. Небо прояснилось.

Я решил: пока старик спит, я выгрузу снопы из его телеги, исправлю тяжи, привяжу оглобли, вывезу из ямы и снова нагрузу снопами. Особых трудностей к этому не предвиделось.

Хотя эта телега довольно шибко скатилась с горы, но особых повреждений у ней не оказалось. Я взял одну из своих веревок и прикрепил тяжи и оглобли у телеги. Когда я уже вывел телегу на ровное место и кончил погрузку ее снопами, дедушка проснулся и подошел ко мне.

— Ай-яй, Сафар, ты, оказывается, молодчина! Или ты совсем не спал? — спросил меня Шаги.

— Знобило, не мог спать как следует, — ответил я.

Мы запрягли лошадей и тронулись в путь.

Лошади успели отдохнуть. За ночь дорогу обсушило, и подняться на гору было не особенно трудно. Въезжав на гору, я поставил своих четырех лошадей гуськом одну за другою и вскочил сам на переднюю телегу. Старик не присоединился ко мне, он медленно шагал возле своей телеги. Быстрая езда не нравилась ему.

— Куда спешишь? — заметил он и мне.

— Айда, дедушка! — сказал я ему и, ударив по лошадам, помчался вперед.

Старик махнул мне рукой, как бы говоря: «Поезжай, я пойду потихоньку».

VIII

Каждая из этих лошадей вполне стоит тысячу рублей. Когда я с тремя нагруженными в три ряда снопов телегами примчался в село, муэдзин только что шел в мечеть, чтобы подняться на минарет и призвать к утренней молитве. Молодухи идут за коровами. Более умные старые коровы сами идут по домам и ждут, когда хозяева откроют им ворота. Откуда-то раздаются тихие звуки гармоники.

Отец с засученными рукавами совершает омовенье к утрен-

нему намазу. На его лице сейчас нет того обычного строгого выражения, и брови его не насуплены. Окончив омовение, он даже помог ввести мне в ворота лошадей.

— Ну, как? Лошади и телеги уцелели? Я уже подумал, что у тебя там что-нибудь поломалось. Озяб, небось? Распрягай сейчас лошадей, да выпей чаю, а снопы выгрузим по моем возвращении с намаза, — заметил мне отец.

Пока я сходил на гумно и распряг лошадей около незаконченной еще скирды овса, показалось и солнце. Небо прояснилось.

Вся природа, размокшая и осунувшаяся от непрерывного дождя в течение целой недели, просияла теперь в красных лучах утреннего солнца.

Как хорошо работать день-денской и не проспаться утро! Как теперь я поработал бы, кажется, с целую неделю.

Какой расторопный человек наша мать! Когда это только она успела заметить мое возвращение, подоить коров, отогнать их в стадо и уже поставить самовар и сварить картошку для меня?

Когда я вошел в дом, меня ждали: шумящий самовар и полное блюдо крупной, как гусиное яйцо, картошки.

Не успел я допить и первой чашки, как со стороны улицы послышался скрип телеги. Смотрю, едут в верхний конец села одна за другою две нагруженные снопами телеги. Около передней серой кобылы плетется ленивыми шагами мой спутник, дедушка Шаги.

Закинув на плечи свой кнут и оба его конца придерживая руками, Шаги шел, опустив низко голову, будто задумавшись.

В моих глазах встала картина прошлой ночи, вспомнились слова старика, его плач втихомолку от меня. Казалось, старик снова говорил: «Если бы я был счастлив, не стал бы рабом».

Я перестал замечать яркое солнце и ясный день. Исчезла радость, вызванная этим шумящим самоваром и дымящейся картошкой.

Закусив на скорую руку и тревожимый тяжелыми думами, я отправился на гумно выгружать снопы.

1912 г.

ТАТАР-КЫЗЫ¹

(Авторизованный перевод)

(ДОЧЬ ТАТАРИНА)

Посвящаю девушкам мусульманского Востока, не желающим быть заживо погребенными.

Фатих.

I

Родилась...

Она была тогда человеком: вольна была двигать руками и ногами сколько ей хотелось; никто не мог запретить ей поворачивать голову и смотреть глазами куда угодно.

Иногда, обмотав пеленками, не давали ей возможности двигать руками и ногами... Но она имела возможность кричать, плакать и острым взглядом выражать негодование против насильников, покушающихся на ее свободу.

Она была тогда человеком. Она вольна была радоваться жизни, приветствовать своей улыбкой новый для нее мир; она вольна была сопротивляться, капризничать и выявлять, что она может хотеть и не хотеть, что она стремится жить, независимо от своего желания и нежелания.

Она родилась... Ее уложили в ту же колыбель, куда укладывали мальчиков. Мать уложила ей в своем сердце место наряду и наравне с ее братьями. Отец сделал то же. Она жила в одной комнате с мальчиками, ходила с ними на одной земле,

¹ Это произведение является одним из ранних произведений Ф. Амиргана и написано в 1907 г., когда еще в татарских мечетских и купеческих семьях были довольно сильны остатки патриархальных традиций.

Прим. ред.

одним солнцем грелась. Подобно мальчикам, самостоятельно думала и переживала.

Щедрое солнце обвивало ее своими золотистыми лучами, ветерок подносил к ее носику запах весны, полной радости, жизни и красоты. Распускающиеся цветы, приветливо улыбаясь, ласкали ее взор. Вся природа считала ее равной другим, оделяла всем, чем могла, наравне с другими.

II

Родилась... Она тогда была живой. Но ее настоящая жизнь продолжалась только до шести лет. Затем какая-то темная сила в своем тайном судилище за неизвестную вину присудила ее к смертной казни и начала душить. Безжалостный пресс часто подавлял ее до лишения последней капли жизни и вгонял в могилу безжизненности ее неостывшее тело с бьющимся сердцем.

Девочка была шести лет...

Пятилетний братишка и семилетний брат начали обижать ее: за волосы потянут, ударят, побьют. Она плачет; но как всякое живое, она старается сопротивляться; ударившего и сама ударит; тянувшему за волосы палец укусит или щеку поцарапает. Но темная сила не желает, чтобы у осужденной ею к смерти были средства защиты. Темная сила устами живой куклы, называющейся матерью, говорит:

— Девочкам не идет драться и возиться с мальчиками.

С этого дня девочке предложено от обиды братишек защищаться, только обращаясь к покровительству других.

Неопытная девочка обманулась. Она не подозревала о своей осужденности к смерти и подобном начале проведения в исполнение этого решения.

Ей стало семь лет... До этого она выходила на улицу, играла и бегала вместе с мальчиками. Темной силе не понравилась и эта вольность жертвы; живая кукла, называющаяся матерью, с ловкостью попугая повторила:

— Девочкам стыдно играть вместе с мальчиками.

Этой мысли, направленной против природы, жизни и свободы, девочка не смогла поверить. Но темная сила призвала отца и его устами повторила:

— Девочкам стыдно играть вместе с мальчиками.

Девочка начала колебаться.

Все окружающие повторили:

— Девочкам стыдно играть вместе с мальчиками.

Девочка поверила. Она всех их считала желающими ей добра. Но жизнь с этим не помирилась, начала защищаться. Она думала, что победит своих врагов на суде рассудка.

— Почему? Из-за чего стыдно?

Девочка молчала, ответила за нее темная сила:

— Потому, что так говорят отец, мать, дед и бабушка.

Жизнь была огорошена; она совершенно не ожидала подобного бессмысленного, нечеловеческого ответа.

Темная сила торжественно отпраздновала эту победу; по случаю этого торжества вручены были девочке куклы и игрушки.

Отрезанная от других детей, от вольного воздуха, просторного мира и свободного гуляния, девочка взяла в руки эти несчастные подарки темной силы и начала их рассматривать. Она недоумевала, для чего ей дали в руки эти штучки?

Темная сила подслала к ней живых кукол, называющихся «сестрой», «тетей», «мамой» и «бабушкой», которые научали девочку, как играть со врученными мертвыми куклами. По убеждению живых кукол, мертвые куклы должны были друг к другу ходить в гости, устраивать свадьбы, жениться, выходить замуж, быть кумой и кумушкой... Так падо было играть с мертвыми куклами.

Девочка не вполне уясняла себе смысл этих слов. Но считалось стыдным ей играть на воле вместе с мальчиками; она принуждена была ограничиться игрой с этими роковыми подарками темной силы.

— Эта куклолка — мужчина; а эта — девушка. Тот женится на этой; вот их свадьба; они живут вместе; идут в гости; к ним приходят гости...

Девочка все играет и играет.

Темная сила смотрит со стороны и смеется:

— Это ты готовишься к будущему. Это твоя будущая жизнь.

III

Девочку отдали учиться абстаю.¹

«Мальчиков Гали, Вали и Биктимира отдали в мектеб,² а меня почему же посылают к абстаю?» — промелькнуло у нее в голове.

¹ Жена муллы, обучающая девочек.

² Школа.

— Девочкам нельзя учиться вместе с мальчиками, — слышался ответ темной силы.

Живые куклы кивнули головой и подтвердили:

— Да, да, это нельзя.

Жизнь снова захотела проявить себя:

— Почему же нельзя?

Живые куклы завывали:

— Стыдно, стыдно, стыдно!

Отец, со своей мужской головой, повторил:

— Это стыдно.

Жизнь, собрав все свои силы, еще раз спросила:

— Почему?

Отец пощетинил свои коротко постриженные усы, живые куклы сморщили лица:

— Как же — почему? Потому, что это стыдно.

Теперь темной силе стало совсем легко осуществить желанное. Основная работа теперь перешла к живой кукле, называемой «абстай» — учительницей, которая с давних пор является верной слугой темной силы.

Абстай хорошо знает свою обязанность: ей из девочки нужно сделать такую же живую куклу, как и она сама.

При помощи темной силы и благодаря своему сорокалетнему опыту она знает самые легкие пути для исполнения своей задачи. В течение трех лет она беспрестанно разными путями и разными словами твердит девочке одну и ту же истину:

— Мужчины сами по себе, женщины сами по себе.

Эта «истина» для девочки не была уже новой, она много раз слышала ее от окружающих.

Абстай пошла дальше. Она три года твердила девочке в ухо:

— Ты сама, как и все женщины, не должна показываться мужчинам.

Жизнь сначала очень твердо протестовала против этого:

— Неправда, она не аурат, а человек. Человек же она.

При помощи темной силы абстай выложила большое количество написанных и напечатанных документов, в которых значилось:

— Весь женский пол аурат.

Негодующая жизнь сердито и удивленно спросила:

— Почему?

Абстай показала документы.

— Книга так требует.

Темная сила сжала кулак:

— Попробуй только послушаться взрослых и великих.

IV

Ей стало тринадцать лет...

Поднесли бесформенный полосатый мешок, закрывающий живых кукол от чужих глаз, от солнца и луны и вольного воздуха.

Живая кукла — мать — сказала девочке:

— Доченька, тебе уже тринадцать лет. С этого дня до могилы ты закрывайся этим.

Отец, с короткими усами и круглой бородой, повторил:

— До могилы закрывайся этим.

Девочка ничего не поняла. Жизнь с болью в сердце спросила:

— Почему?

Живые куклы, не отвечая на вопрос, прибавили:

— Если встретишься с мужчинами, краешком покрывала закроешь лицо свое.

Жизнь со слезами спросила:

— Почему?

Ей ответила абстай:

— Твои волосы, лицо, все твое тело — аурат, которое нельзя показывать мужчинам. На тебя мужчины смотрят с вождедением. Ты им не должна показываться.

Жизни никогда еще не приходилось слышать ничего более унижительного, а абстай два года под ряд твердила девочке в ухо:

— Мужчины смотрят на тебя так.

Обессиленная, только тлеющая, Жизнь уже не имела смелости еще раз спросить:

— Почему?

А темная сила оскалила зубы и грозила кулаком.

Живые куклы дальше заявили девочке:

— Тебе пятнадцать лет; ты уже девушка; стыдно тебе ходить учиться, показывая свой стан мужчинам.

Жизнь была сильно больна. Она не возражала. Темная сила назидательно повторила:

— Ты уже знаешь, что ты не то, что мужчины; ты знаешь, что ты аурат, что тебе стыдно показываться мужчинам. Тебе нужно было знать только это. А знать больше этого уже не годится девушке. Это было бы стыдно.

V

Живые куклы и толстый отец твердо приказали девушке: — Вот тебе четыре стены. Пока не найдется «муж», чтобы забавляться тобой, ты охраняй эти стены, а стены эти пусть охраняют тебя.

Темная сила добавила:

— Шестистекольное окно твоей комнаты — солнце для тебя. Пять комнат квартиры — для тебя страны света. Цветы на подоконниках — для тебя сады, поля и леса. Вода в умывальнике и ведрах для тебя заменит реки, озера и моря. Сплетни, дразги, плач на дому — для тебя музыка, а святое твое невежество для тебя наука, созданная веками.

Жизнь уже не в состоянии была возражать. В виде последнего проявления себя она повела девушку к окну.

Это было в пятницу. Мимо окна прошел кривоногий щеголь-приказчик, в тюбетейке набекрень. Девушка почувствовала «симпатию» к приказчику.

В субботу же приказано было девушке не сидеть у окна. Теперь она уже лишь похаживала мимо окна. Прошел по улице сторбившийся шакирд. Девушка и к нему почувствовала симпатию. Шакирд про себя решил: «Сегодня же напишу письмо ей на узорчатой бумаге, начну со словами — тонкобровая гурия моя...»

В воскресенье девушке уже совершенно запретили подходить к окошку. Она все же с украдкой подошла. Мимо в чалме проходил сын муллы. Девушка и его полюбила. Он, заметив ее, поправил чалму на бритой голове, прищурив глаз, подумал о выгоде женитьбы на дочери богача и порешил сегодня же через одну старуху послать девушке «сердечный привет».

В понедельник, улучив минуту, еще раз боязливо подошла к окну. По улице на хорошей лошади ехали толстый богач, а около него его сынок, с маленькими глазами и шапкой набекрень. Девушка почувствовала любовь и к сыну богача. Сынок богача мигнул ей глазками и подумал, что в качестве пятой и ее можно полюбить, а отец его порешил современем послать сваху просить ее в качестве второй жены для себя.

VI

Темная сила недовольна была и этими предсмертными проявлениями жизни.

Живые куклы объявили девушке:

— Теперь тебя выдаем замуж за Биктимира. Ты должна быть его рабой.

Умный голова-отец повелительным тоном сделал назидание:

— Воля Биктимира — воля аллаха.

Темная сила сама довольно улыбнулась:

— Ты теперь совершенно избавляешься от крамольницы, называемой «Жизнью». Ты теперь уже вполне подготовленная живая кукла. Тобой будет забавляться Биктимир. До могилы будешь служить ему. Таково мое желание.

Начался торг между отцами — продавцом и покупателем живой куклы.

— Нет, Зайнутдин-абзы, магар¹ пятьсот рублей.

— Много, с доброй руки, достаточно четырехста.

— Нет, еще полсотенку прибавишь.

— Ну, к добру, еще одно шелковое платье прибавлю.

Созвали много живых кукол, угощали их, а они девушке принесли в подарок много дорогого тряпья и побрякушек.

Затем созвали большую группу дураков, забавляющихся этими живыми куклами; их угощали. Среди них был один в чалме. Он что-то причитывал. С этого момента стали девушку считать женой Биктимира.

На четверо суток девушку с Биктимиром заключили в одну комнату. Начались приготовления к переходу в дом Биктимира.

Живая кукла-мать делает последние назидания:

— Доченька, слушайся всегда мужа, будь дорожкой под его ногами.

Отец, умная голова, все время твердил:

— Воля Биктимира — воля аллаха.

Заметив, что Жизнь совершенно перестала проявлять себя, темная сила торжественно заявила:

— Вот уже теперь-то ты настоящая живая кукла.

VII

Живую куклу Биктимир поставил внутри четырех стен.

— Вот тебе стены, которые ты должна стеречь до могилы; когда мне захочется, я буду приходить и забавляться тобой.

Темная сила сообщила:

¹ Калым — выкуп.

— Твоя обязанность быть игрушкой для мужа и приносить детей, чтобы не прекратился род живых кукол и дураков.

Исполняя желание повелительного взгляда Биктимира, живая кукла преклонила колени перед темной силой:

— Знаю, хорошо знаю! Я сотворена для этих двух обязанностей.

Темная сила, не услышав и теперь голоса жизни, захохотала:

— Ха - ха - ха! Девушка уже живая кукла. Ха - ха - ха! Девушка уже заживо погребена.



В то же время ученики Джами-аль-Азгари в Каире, сохты Айа-Софии в Константинополе, на Серендипе, под деревьями индийские мусульмане и хаджи-мусульмане, собравшиеся со всего мира в Каабе, читали и повторяли стих из Корана:

«В день страшного суда спросят заживо погребенную, за какую вину подвергли тебя подобной смерти?»

1907 г.

САМИГУЛЛА-АБЗЫ¹

(Авторизованный перевод)

Хотя управление всем домашним хозяйством лежало на Магтаб-абстай,² чай и сахар находились всегда под особым покровительством самого Самигуллы-абзы. Каждый раз, как он приходил к чайному столу, первым долгом он брал чайницу, тряс ее и затем, открывши крышку, заглядывал внутрь и нюхал. После этого между ним и Магтаб-абстай непременно происходил следующий разговор:

— А ведь уже мало чаю у тебя осталось, матушка?

— Что ты! Еще и половины не истрачено.

— Нет, раз столько осталось, не надолго хватит его. Какой же чай теперь начнешь, матушка? Кузнецовский, что ли, что недавно куплен, или утямышевский, который купили третьего дня? А впрочем, есть у нас еще несколько фунтов и с зеленой печатью; можно и его попробовать.

— Какой придется, тот и начнем. Не ломать же мне из-за этого голову.

¹ Дядя.

² Тетя.

— Нет, нет, это ты не так, матушка. Надо попробовать с зеленой печатью. Мы его пили летом, боюсь, что вкус изменится от долгого лежания.

— Ну, а я что тебе постоянно говорю: не надо набирать столько чая, вкус портится от лежания.

— Нет, это ты не так, матушка.

— Хорошо, когда чаю изобилие, а вот плохо, когда весь выходит.

После этого разговора Самигулла-абзы брал закрытую сахарницу, тряс ее, отчего куски постукивали друг о друга, и наконец открывал ее и несколько минут смотрел туда, дотрагивался до некоторых кусков пальцами, и уже только тогда спрашивал:

— А что, матушка, ведь у нас еще много сахара?

Каков бы ни был ответ Магтаб-абстай — много ли, мало ли сахару, — он непременно скажет:

— Бог даст, как-нибудь я куплю его еще больше.

Если Самигулла-абзы приходил к столу до заваривания чая, то доставлял Магтаб-абстай немало хлопот.

— Послушай, матушка, ты не очень много чаю заваривай. Я пью немного, не знаю, может быть, ты сама будешь пить, тогда не очень мало заваривай, ведь у нас и дети много пьют...

И сказав это, он внимательно наблюдал, как Магтаб-абстай заваривает чай. Едва успевала она поднести ложку к чайнику, он говорил:

— Нет, матушка, если ты еще немного не прибавишь, будет мало.

После этого он опять осматривал ложку и замечал:

— Много, много, матушка! Мы ведь не столько пьем.

Когда же она клала обратно половину, он продолжал:

— Нет, голубушка, ты совсем заскупилась, этого мало, еще чуточку прибавь, только самую чуточку.

И только, когда чайник ставился на самовар, он становился спокойнее. Когда чай заваривался, Самигулла-абзы брал чайник, подносил к носу и вдыхал его аромат, говоря:

— Ароматный и душистый, матушка, вот понюхай и ты!

Такая заботливость Самигуллы-абзы о чае и сахаре ставила иногда в неловкое положение Магтаб-абстай.

Два года тому назад старики выдали замуж свою дочь. Прошла свадьба со всеми обычаями. Через несколько дней старики пригласили к себе родителей жениха.

Чайный стол был приготовлен на славу. Невестка, дочь

Самигулла-абзы, стала заваривать чай. По своей привычке Самигулла-абзы стал заботливо наблюдать за этим. Невестка положила одну ложку, другую и готовилась уже положить третью, как Самигулла-абзы не стерпел:

— погоди, дочка, ты ведь положила уже две ложки! — и как всегда прибавил: — я много не пью, мать тоже, не знаю вот, как гости...

Те поспешили заявить, что им пить совсем не хочется, и смущенно переглянулись. Невестка и Магтаб-абстай покраснели от стыда. Гости после первого же раза опрокинули свои чашки, и никакие потчевания не заставили их выпить по другой.

Когда гости ушли, домашние начали упрекать его тем, что его поступок был похож на поступок скупого, жалеющего чай для своих гостей. Он стал было оправдываться, но кончил тем, что сказал:

— Нет, это ты не так, матушка. Чай нужно уметь заваривать. От плохо заваренного чаю только в животе бурлит. Я ведь не потому, что жалею: у нас ведь еще шесть фунтов одного кузнецовского лежит, ведь чай, если его много положить, не заваривается.

Этот неприятный случай на время охладил Самигулла-абзы и даже на некоторое время он перестал за каждым чаепитием трясти чайник и сахарницу и возиться с ними. Но потом все опять забылось. И в этом году от этой страстишки Самигуллы-абзы вышла маленькая неприятность.

Самигулла-абзы собирался с сыном на нижегородскую ярмарку.

— Послушай, матушка, — сказал он Магтаб-абстай, — завтра вечером мы отправимся, за день мы не успеем все сложить, кое-что я приготавливаю сегодня же.

Магтаб-абстай достала саквояж.

— Как ты думаешь, матушка, какого же чаю мне взять на дорогу? — спросил он и, подойдя к фунтовым сверткам чая, осматривал их, поодиночке беря в руки, но не удовлетворился ни одним. Потом он подошел к столу, взял чайник и, открыв его, заглянул туда и понюхал.

— У вас, матушка, здесь чаю мало осталось? Дай-ка мне вон тот чай «Караван», что сверху третьим лежит. Я подсыплю сюда, сколько войдет, а остальное возьму в дорогу.

Но когда Магтаб-абстай достала чай, Самигулла-абзы уже изменил свой план:

— Это ты не так, матушка... Пусть пока остается этот чай «Караван», его хорошо будет пить по приезде с ярмарки. Ты достань-ка мне второй снизу, утямышевский, он в дороге будет лучше...

Но когда сверток очутился в руках Самигулла-абзы и он понюхал его, оказалось, что и этот не годится.

— Нет, матушка, лучше достань тот с самого низу, с золотой печатью.

Но старуха заупрямилась:

— Да ты распечатай вот этот сверток!

Самигулла-абзы согласился, прибавив:

— Это ты не так, матушка, чай чаю рознь, надо уметь их различать: не всякий хорошо на пароходе заваривается.

И он начал распечатывать сверток. Это было одно из любимейших занятий Самигулла-абзы. Он разворачивал его с необыкновенной торжественностью и серьезностью и по окончании, победоносно оглянувшись по сторонам, окликивал Магтаб-абстай: «Матушка, готово!»

И в этот раз он по своему обыкновению торжественно распечатал сверток, понюхал его и, подзвав к себе Магтаб-абстай, помог ей высыпать чай в чайницу. Чтобы крупинки чая не рассыпались по краям, он сделал воронкой руки и придерживал ими отверстие чайницы. Оставшуюся половину Самигулла-абзы понюхал, с деловым видом положил в саквояж и, растопырив ноги, некоторое время посидел возле него. Но на этом приготовления его не кончились.

— А с сахаром что мне делать, матушка? — обратился он к Магтаб-абстай.

— Возьмешь.

— Взять-то возьму, но какого? От целой головки наколоть или ты дашь мне уже наколотого, а то, может быть, взять пиленого?

— Так какого же тебе дать?

— Да и я сам не знаю, матушка! Ты принеси сюда все, мы посмотрим и подумаем.

Когда сахар различного сорта был принесен, Самигулла-абзы стал рассматривать выломленную сверху сахарную головку, потом перешел к колотому сахару и, приподняв края толстой бумаги, в которой он лежал, взял оттуда два куса и пощупал их.

— Пиленый сахар не вкусен, его в дорогу не возьму, а вот колотого мне дай. Впрочем, не знаю, может быть, ты думаешь,

что колотого мало останется дома, ты лучше отколи мне от головки. Нет: когда же ты успеешь его отколоть, а я хочу сейчас же его уложить получше; возьму покамест колотого, а там видно будет.

Самигулла-абзы положил на стол большой лист бумаги и стал класть туда сахар. Положил одну горсть, другую, третью, четвертую и задумался.

— Кажется, это много, матушка.

— Много, так часть положи обратно.

— Так и придется сделать!

Он положил две горсти обратно и задумался.

— Нет, матушка, теперь совсем мало осталось.

— Ну, прибавь еще немного.

— Да, видно, придется.

Он снова взял в руки одну горсть и хотел положить ее к себе на дорогу, но тут он спохватился и задержал из них три куса, которые после некоторого раздумья бросил обратно.

Теперь все уже было готово.

Самигулла-абзы тщательно обернул сахар в бумагу и, положив его в саквояж, усталое вздохнул. Потом взглянул на часы и вскрикнул:

— Ого, уже десять часов! Из-за этих сборов я чуть было не опоздал на базар...

Придя с базара, Самигулла-абзы опять открыл саквояж и сказал Магтаб-абстай:

— Послушай, матушка, здесь, кажется, чаю много, дай-ка мне какую-нибудь бумажку, я оставлю немного вам. Как только место в чайнице будет, так и всыпешь его туда.

Он так и сделал. Затем он поглядел на сахар, и ему показалось, что его мало. Тихонько, никому не говоря, он взял несколько кусков из сахара, оставленного дома, и положил в саквояж.

В день отъезда он велел Магтаб-абстай приготовить ему жестяную коробку для чаю и, когда она принесла, он уложил в нее чай, а сахар спрятал в коробку из-под конфет. После этого он сказал сыну:

— Я чаю и сахару приготовил, а уж ты, Хакимулла, собери остальное, да смотри, чтоб было готово. Как только вернемся с базара, сейчас же надо на пристань ехать.

Когда Самигулла-абзы ушел, все было приготовлено, и вещи связаны в узлы. Но старик вернулся с новой мыслью. Он приподнял и осмотрел все узлы и саквояж.

— Нет, матушка, вы напрасно положили чай и сахар в саквояж. Его надо было бы положить в этот узел с подушками. Открыли запертый саквояж, развязали туго завязанный узел. Самигулла-абзы взяли в руки чай и сахар и задумался.

— А ведь знаешь что, на дорогу я лучше возьму того, еще не начатого чаю с зеленой печатью, на пароходе он лучше заваривается, а остаток допьем на ярмарке.

Но этим дело не ограничилось.

— Пожалуй, и сахару придется взять другого, пиленого. На пароходе не пьешь ведь в прикуску, как дома, а два куска пиленого как раз на стакан чаю.

Хакимулла, вернувшись с базара, был изумлен, видя развязанные вещи и старика, все еще хлопчущего с чаем и сахаром.

— Отец, ведь до отхода парохода осталось полчаса, а ты все еще здесь возишься.

— Нет, это ты не так, сынок! Всему свой порядок. Что бы мы стали делать на пароходе с плохо завариваемым чаем? Это ты не так, Хамикулла...

Как ни торопил его Хамикулла, но прошло еще четверть часа, прежде чем узлы были увязаны.

Путники торопливо вышли и сели в экипаж.

Когда лошади тронулись, Самигулла-абзы обернулся и сказал на прощание:

— Оставайся с богом, матушка! Ты уж сама распорядись насчет чая, оставленного в жестяной коробке.

Но не прошло и полутора часов, как наши путешественники со всеми узлами вернулись обратно. Хамикулла был расстроен и сердит, а у Самигуллы-абзы был несколько притворный, виноватый и извиняющийся вид.

— Не суждено нам было уехать на этом пароходе, матушка, — сладко начал Самигулла-абзы.

Хакимулла сердито проворчал:

— Конечно, если дурачиться и заниматься пустяками...

— Нет, это ты не так, сынок, — начал было возражать Самигулла, но не найдя доказательств, проговорил: — Уж если ехать на последнем пароходе, всегда что-нибудь случится. Завтра, бог даст, уедем с утренним пароходом.

За вечерним чаем в голову Самигулле-абзы пришла новая и удачная мысль, но он не посмел при Хамикулле рассказать о ней. «Нет, это он не так: наш Хакимулла не знает порядок, он еще неопытный», подумал Самигулла. Зато после чая он ото-

звал Магтаб-абстай к себе в комнату и начал таинственным голосом:

— Знаешь, матушка, по пути от пристани я придумал нечто совсем необычайное... Как ты думаешь, что? — и он вопросительно взглянул на нее. Но видя, что она не догадывается, продолжал: — Я, матушка, в подарок с ярмарки всем хочу привезти зеленого чаю и бухарского сахару.

— Но хорошо ли это будет? Так ведь никто не делает.

— Это будет зато так необыкновенно.

И рассказав обо всем старухе, он почувствовал особенное удовольствие.

В этот вечер старики легли спать раньше обыкновенного, а перед сном Самигулла-абзы спросил у своей старухи:

— А как ты думаешь, сколько мне купить в подарок зеленого чая?

Но видя, что она не отвечает, проговорил:

— Ладно, спи, тогда завтра потолкуем.

Но все же сквозь сон еще долго думал и бормотал что-то о зеленом чае и бухарском сахаре.

Ночью ему приснился очень приятный сон.

Вот он в большом саду. На необыкновенных деревьях всюду красуются пакеты чая с зеленой, синей и золотой печатью. — Чай «Караван», Утямышева, «индийский», Ишмуратова, кузнецовский — и еще какие-то с незнакомой ему печатью. Фунтовые и полуфунтовые свертки заменяют цветы, а трехзолотниковые — их бутоны. На грядках же внизу растут в обертках и без оберток сахарные головы. А дорожки сада посыпаны белоснежным сахарным песком. Самигулла-абзы как будто здесь является садовником. Он гуляет в саду, любит этим великолепием, постукивает пальцами по сахарным головам и нюхает пакетики чаю: «Ах, какой ароматный!..» Вдруг подул ветер. Пакетики чая начали падать с деревьев. Самигулла-абзы хочет взять один из них: «Надо же и к Магтаб-абстай понести, чтобы и она понюхала»...

Какой это был приятный сон!

1916 г.

ДАВНЫМ ДАВНО

(Авторизованный перевод)

Они скрылись в палатку и ждали, пока пройдет дождь.

Старик лодочник, то-и-дело поправляя указательным пальцем табак в трубке и посматривая из-под длинных седых ресниц на пришельцев, старался расспросить, кто они.

Оказалось, это были двое рабочих, направлявшихся на поиски более выгодной работы.

Один — высокого роста, с редкой бородой, средних лет, худощавый, другой — помоложе, лет двадцати, хорошо сложенный. Лодочник обращался более к нему.

— Не стоит искать, братец, счастья! Счастья теперь нет.

Молодой человек с удивлением посмотрел ему в глаза.

— Много прошло с тех пор, как его нет. Многие молодцы, вроде тебя, старались найти его, да ничего не вышло. Послушай, что я тебе расскажу. Давным давно в Бухаре жил со старухой матерью молодой человек. И вот, когда стала мать умирать, позвала она сына и сказала она так: «Сын мой! Я умираю, ты еще молод и долго будешь жить, не сиди только сложа руки, трудись и старайся отыскать свое счастье». Умерла мать, а сын и не знает, что делать. Один день сидит и плачет, другой — сидит и плачет. На третий вспомнил про завещание матери. Спрашивает одного человека, спрашивает другого, никак не может добиться желанного ответа, как найти счастье. Долго ходил и расспрашивал. И вот наконец, когда он уже выбился из сил, кто-то ему сказал: «Иди за дремучий лес, там в пещере живет странствующий дервиш. Он все тебе расскажет». Молодой человек нашел дервиша и стал его просить да умолять: «Вся моя надежда на тебя. Помоги мне найти

счастье!» — «Гм, — промолвил дервиш, — плохо же ты понял слова матери! Ну, ладно! То, что ты ищешь, на свете есть. Кстати, мне пора идти в дорогу. Следуй за мной, и я помогу найти счастье». Они сказали: «Хвала аллаху» и пустились в путь. Шли они, шли, по крутым горам, дремучим лесам, переплывали на плотах реки и моря. Пришли наконец к городу Иерусалиму. Показал дервиш на видневшуюся вдали большую мечеть и сказал: «Видишь эту мечеть. Туда, среди ночи, собираются духи — джинни. Нам с ними и придется иметь дело». Вечером после молебна ясту, когда все разошлись, они остались в нише. В полночь, когда и город превратился в глухое кладбище, послышалось легкое жужжанье, похожее на пчелиное, и при лунном свете, падающем через окна на камышевые ковры, показались чьи-то беловатые тени. Их становится все больше и больше, шум слышнее, он превращается в монотонный молитвенный напев. Вдруг стена между минбером и михрабом раскрылась наподобие ящика, вся внутренность мечети наполнилась ослепительным светом, и пестрые, огромные, ростом до самого потолка тени продолжали совершать торжественное молебствие. Дервиш вышел на середину мечети и воскликнул: «О, славный род джинни! Ради кольца пророка Соломона прошу дать мне дорогу». И он идет прямо к ящику и вынимает из него кольцо. В это самое время за его спиной слышится адский пронзительный хохот. Когда они вышли из мечети, дервиш сказал молодому человеку: «Вот кольцо счастья, стоит только прочесть на вделанном в него камне святое имя, все твои желания исполнятся». С наступлением рассвета они вынимают кольцо и хотят прочесть святое имя. Но что они видят? Где камень? Вместо него — пустое место! И дервиш, глубоко вздохнув, сказал: «Еще когда я услышал за спиной адский хохот, то почувствовал что-то недоброе. Это они, проклятые, украли камень...»

Лодочник остановился и вынул изо рта трубку.

— Что же дальше? — спросили слушатели.

— Конец таков, — сказал лодочник: — швырнул дервиш кольцо, а тот молодой человек, такой же как вы, спросил: «Ну, а что же мы будем делать дальше?» — «Не вышло, — промолвил дервиш, — вся надежда теперь на самих себя». И пошли оба обратно в родную Бухару... А дождь-то, гляди, совсем перестал. Пойдемте, я вас перевезу на другую сторону!

Вышли. Лодка тихо качалась. Шумели прибрежные камыши, позеленевшие после дождя.

Переправив путников, лодочник объяснил дорогу, показывая руками.

А кто-то из вновь подошедших крикнул с другой стороны: — Что же ты там? Опять начал сказывать сказки!

1910 г.

ССОРА

(Авторизованный перевод)

В деревне выходят от ахшама.¹

Первый зимний снег медленно падает сверху, как мертвые бабочки, и покрывает землю.

Тихо, молча, идут старики домой, оставляя следы в мягком снеге.

Ни звука. Полная тишина.

Старик Валий, прямо из мечети, не заходя домой, проходит к родному брату Сайфулле-абзы.

Братья Сайфулла и Валий месяц тому назад поссорились из-за пустяков и перестали ходить друг к другу.

Сайфулла-абзы, растянувшись, лежит на парах и смотрит вверх.

Входит брат Валий. Поздоровались. Зажгли огонь. Сайфулла-абзы хорошо сложен, с красным лицом и горбатым носом. Ему около семидесяти. Он много не говорит, разве только охотно расскажет о своем былом молодечестве.

Валий, его младший брат, тоже крепкий старик с желтоватым лицом, слегка сгорбленный. Валий говорит много, все время жалуется на людей и привязывается к другим, из-за этого братья часто ссорятся.

— На этих днях в мечети не видать тебя, не болен ли, думаю, — говорит Валий-абзы.

— Нет, слава богу, так себе, как будто спина болит.

— Старость, говори. Эх, старость, старость! Последние дни. Вот на-днях после обедни был у Усмана. Сидит, хлопая глазами, и курит трубку. Старики мы с тобой, «Усман-абзы, — сказал я ему, — нам это дело не к лицу. Пора и тебе бросить трубку. Если людей не стыдишься, бога-то надо бояться! С базара возвращаешься пьяный, как мордва, начинаешь придирается к снохе и сыну. Эй, Усман, Усман, стыдно тебе, стыдно! Пора

уже стать на правильный путь.» А он давай сердиться и обругал меня, как собаку. Вот ты и говори другому на пользу. Удивительно! Ты говоришь правду, а люди принимают ее за вражду. Помнишь, что сделали со мной в начале лета сыновья Юская? Две недели в постели лежал. За что, скажи? Не говори правду! Как же терпеть, не говорить, когда ты ее видишь! Смотрю, они зашли с полсажени на чужую землю и пахнут. «Э, братцы, что вы делаете? — сказал я им. — Неужели не верите в единство бога и правоту пророка. Ясно видите и лезете на чужой участок. Где у вас совесть и стыд?» Я только успел сказать, а они и набросились на меня: «Ох, ты старей, такой да саякой, ты пришел учить нас!» Бросили под ноги и избили до полусмерти.

Сайфулла-абзы слушает брата с видом сожаления и говорит:

— Валий, а на что тебе нужно было лезть в чужое дело? Народ и тогда тебя винил; многие говорили: «Так и надо, не лезь не в свое дело!»

— Вот на это-то я и удивляюсь. Имей я силу и избею их самих до-смерти, народ непременно сказал бы: молодец, старик! Таких подкидывшей только так и образумишь. У людей-то правда всегда в кулаке. То-то и беда! А на-днях я зашел к жене Юмагула. У ней светопреставление, на чем свет стоит своих снох ругает. Откуда она берет такие слова, проклятая! Как змея сыплет свой яд. А бедные снохи стоят в стороне и смотрят. Рассердился я: «Эй, Райхан, Райхан, — говорю я, — боишься ты хоть немного бога? Как тебе не стыдно так мучить людей, кровь человеческую пить! Бесстыжая ты, бога бойся, людей стыдись!» Не успел я докончить, как она взяла кочергу и мне по голове — чик! «Ты, говорит, пришел учить моих снох. Пошел вон, старая свинья! С глаз долой, старый хрыч!..» Я — к выходу, а она мне рукой и ногой поддает, и снизу и под колено. Два дня плечи болели, даже в мечеть не мог идти, а после она рассказывала соседям, будто бы я хотел с ней «пошалить», а она, видишь, вытурила меня кочергой. Вот что делает, шельма проклятая.

— Да, действительно, неловко вышло, — говорит Сайфулла.

Как ни горячится в рассказе Валий, брат его слушает хладнокровно и лениво. Между тем приносят и ставят на стол самовар.

Сайфулла-абзы начинает расставлять чашки.

Валий опять начинает говорить.

— Как это у вас... дела со снохой?

¹ Вечернее молебствие в мечети.

— Как сказать! — так, попрежнему; она нейдет, мы вещей не даем.

— А почему вещей не даете?

— Это уже наше дело. Пусть идет поживет, за что давать вещи?

— Надо стыдиться, брат, стыдно! Бог есть, бога надо бояться. Сколько раз били ее и выгоняли, а теперь... пусть идет и живет. Если не придет, не хочет идти или не может жить, хотя бы и пришла, то разве можно задерживать ее вещи? Сколько раз она возвращалась и уходила обратно! Ведь и сын, когда вернется, спасибо тебе за это не скажет. Эх, брат, брат!

Сайфулла-абзы, нахмурившись, говорит:

— Ты, брат, не ходи учить меня! Я и без тебя хорошо знаю свои дела. Если будешь молчать, вот хорошенько попьем чаю. Если же будешь много говорить, то мы с тобой не сойдемся.

Валий перебивает Сайфуллу:

— Стыдись, брат, так делать. Посмотри в зеркало и подумай. Посмотри на бороду. Уж на краю могилы стоишь! Сколько думаешь прожить? Бога бойся чужую кровь пить, бессовестный ты! У тебя ума нет!

У Сайфуллы загорается лицо. Руки начинают дрожать. Он соскакивает с места, отворяет дверь и, показывая туда рукой, говорит:

— Выходи, проваливай, хоть в ад, и чтоб духу твоего не было! — Он начинает кричать изо всей мочи.

Валий-абзы выходит на улицу.

Все еще идет снег. Где-то лают собаки. По обеим сторонам в маленьких окнах мерцают огоньки. На соседнем кладбище наклонились березы задумчиво и грустно, как будто мертвецы встали в белых саванах и, протянув руки, молчат у кладбищенской горы.

Валий-абзы, согнувшись, медленно идет к себе домой.

1910 г.

НА ЧУЖБИНЕ

(Авторизованный перевод)

Нас было человек десять и делали мы ремонт на Кавказской железной дороге.

Жили неподалеку от станции Куянак в казарме.

В одной половине помещался дорожный мастер, другая была назначена для рабочих.

Нас трое татар, четверо русских, двое немцев, да еще были три или четыре проходящих дагестанца-мусульманина. Дорожный мастер, русский, из Нижегородской губернии, был женат. Жену взял из соседней деревни немцев-колонистов. Наши немцы — женина родня, мастер и назначил их над нами старшими. Под их началом иногда вместе, иногда разбившись на группы, на четверо, на пять, мы расходились в разные стороны от станции и с кирками и лопатами в руках с утра до вечера чинили дорогу. Наверно каждому ездившему по железной дороге случалось видеть оборванных людей, стоящих, как статуи, вдоль дороги, опираясь на кирки и лопаты. Вот эти-то рабочие, ремонтирующие дорогу, и будут наши товарищи.

Была осень. Мы были недовольны работой, плата очень низкая, заработать много нельзя. Все-таки мы все трое татар решились провести зиму здесь. Хотя я с одним товарищем хотел уйти, но старый товарищ не советовал.

— Теперь к зиме куда пойдешь? В начале лета вместе будем возвращаться. Так-то лучше будет!

Мы послушались его и нашли, что так в самом деле будет лучше.

Работаем. Надежда заставляет работать. Работаем с радостью. Как будто к началу лета у нас и денег будет много, и на родине соскучатся о нас, и дни будут удивительно хорошие, тогда у нас не будет ни в чем недостатка. Одним словом, счастье только и ожидает.

С каждым погружением лопаты в песок чувствуешь, что поднимаешься на одну ступеньку ближе к радости, с каждым ударом кирки в глину думаешь: вот еще на один шаг ближе к ожидаемому счастью.

Дышишь свободно и чувствуешь в себе какую-то силу, бодрость, мощь и радость.

Дождливая осенняя погода Кавказа; его легкие, теплые туманы не раздражают, а наоборот, воодушевляют и располагают к мечте. Кавказские горы с белоснежными вершинами, укутанными в белый туман, смотрят свысока и беззвучно поют.

Вспоминается детство, материнская забота. Все помнится. И поезд, подходящий со свистом, как будто несет привет из родного края и рассказывает, что дома все соскучились и что «ждут к началу лета».

Раз мы, возвратившись с работы, сидели около казармы. С дороги подошли к нам двое. Оба татары, усталые. Один по-старше, лет тридцати пяти, другой молодой, двадцати лет, на вид совсем больной. Просились ночевать. Наш старик ходил спрашивать разрешения у начальника. Тот позволил, пусть ночуют, если имеют паспорта.

Больной молча сел на бревно, другой стоя заговорил о жите-быте. Как узнали, что переночевать можно, повеселели. По словам старшего, его захворавший товарищ был сын одного покойного хазрата, да по неопытности и молодости бросил дом, ушел на заработки на сторону и перенес много нужды. Во все время речи шакирд не произнес ни слова, но мы теперь все отнеслись к парню с уважением.

Дядя Фатхулла уже успел изъяснить свое расположение к шакирду:

— Ты, братец, как больной, должен отдохнуть. Идем в казарму, напьемся чаю да и ляжешь.

За чаем шакирду стало как будто лучше, и он заговорил дрожащим голосом: его будто только лихорадка мучает; если можно было бы избавиться от нее, то он может начинать и работать.

Дядя Фатхулла перебил его мягко, по-отцовски.

— Ты, братец, с таким видом от работы не разбогатеешь! Самое лучшее тебе домой вернуться и быть муллою, если нельзя, то муэдзином... Эта работа к лицу только нам, мужикам.

Шакирд ничего не ответил, закашлял и затих, словно думая: может быть, и действительно так сделать.

Стоял в стороне и смотрел, не отрывая глаз, парень из Дагестана, Мустафа (дагестанские рабочие любят татар).

Мустафа был немного грамотный, знал несколько арабских молитв. Сам большой и неуклюжий, как медведь, но с доброй душой, веселый и открытый парень. Он все обещался на праздник свести нас в свою деревню и угостить чагыром¹.

Мустафа отвел дядю Фатхуллу в сторону и что-то шепнул ему.

Фатхулла отозвался.

— Умеет, умеет, как не умеет! Попроси почитать, пусть только выздоровеет... коран умеет ли читать, — какне уметь!

Шакирд улыбнулся и опустил глаза, как бы говоря: «это-то можно».

¹ Вином.

Но на этот раз Фатхулла не хотел беспокоить шакирда и начал его укладывать.

Они остались у нас. Хотя у шакирда лихорадка не прошла, но он чувствовал себя лучше. Его товарищ стал ходить с нами на работу. Шакирд тоже, как делалось ему лучше, выходил на работу.

Дядя Фатхулла старался держать его около себя, давал работу полегче и всячески помогал.

Мы все жалели шакирда и были с ним ласковы.

Дорожный мастер, наш начальник, с желтой бородой, широким лицом и доброй душой, зная наше отношение к шакирду, тоже принимал во внимание его болезнь и смотрел сквозь пальцы на плохую работу шакирда. Иной раз пошутит над ним:

— Ваш мулла очень похудел. Видно, вы плохо его кормите.

А жена мастера давала лекарств шакирду.

Прошла зима. Наш шакирд все еще не мог выздороветь. Все кашлял, его все лихорадило.

По воскресеньям он дрожащим голосом читает нам книги, пишет письма, читает молитвы, а в понедельник он уже весь разбит и не может выйти на работу. Отдохнет два дня и тогда выйдет и денек проработает.

Настал Рамазан. Еще до Рамазана мы решили не выпускать шакирда на работу, а чтобы он с нами совершил намаз.

Шакирд согласился, и мы были рады, что сделали одно доброе дело, и обещались помочь ему деньгами.

Мы так и делали до половины Рамазана. Каждый день, а когда устанем, по вечерам, надеваем мы поочередно старые га-лоши начальника и умываемся из ковша. Затем, расстелив простыню, нарочно выпрошенную у жены начальника, молимся от чистого сердца. В это время два немца, четверо русских, иногда и начальник с женой, зашедшие в комнату, тихо смотрят на нас со стороны.

После молитв намаза шакирд читает прерывающимся голосом коран.

Когда нам от усталости не до намаза, шакирд молится с одним Мустафой. В таких случаях мы, приподняв руки, присоединяемся только к последней молитве намаза.

Во второй половине Рамазана мы лишились и этого счастья. Наш шакирд совсем слег в постель.

Хоть начальник хотел отправить его в больницу, но дядя Фатхулла отговорил его, говоря, что скоро будет праздник, и тогда повезет его сам.

Мы идем с работы, а он лежит в постели, весь съезжившись. Как только входим, он поднимает голову, радуется, начинает говорить, что ему лучше, только скучно, ему одному страшно: он скучает по нас. Если поехать домой, то он выздоровеет, мать его знает много лекарств и очень любит его; если увидит, сейчас вылечит, у них в саду очень хорошо, яблони цветут, ягоды созревают, только их клюют птицы, мы берегли бы их, если бы там были...

— Давайте, поедem туда, — говорит он то в сознании, то в бреду.

В это время начальник был в отъезде по делу. Когда оставалось до праздника четыре дня, мы опять совершали намаз.

На этот раз муллою вместо шакирда был Мустафа.

Как только мы кончили намаз, шакирд, лежа в постели, плачущим голосом стал читать коран, он бредил. Долго читать не мог, и голос оборвался.

Мы прочли заключительную молитву. Дядя Фатхулла плакал.

Накануне праздника приехал начальник. Узнав о тяжелом положении шакирда, он обеспокоился, даже поссорился с дядей Фатхуллой за то, что тот отговорил везти шакирда в больницу.

Теперь мы по ночам не тушили огня. Как-то ночью шакирд хриплым голосом крикнул два раза: «Дядя Фатхулла, дядя Фатхулла!»

Я и дядя Фатхулла в испуге проснулись.

Шакирд наполовину встал и озираясь по сторонам, щеки горели, глаза глядели неправильно. Он опять заговорил каким-то замогильным голосом.

Он сказал:

— Дядя Фатхулла, я умираю! — и опустил голову на сложенный бешмет.

Длинные волосы, скулы выступили, губы синие, глаза открыты, лежит неподвижно, и сам слегка все дышит.

Дядя Фатхулла поправил его руки и уложил вдоль туловища. Дотронулся рукой до его лба и сказал:

— Бедняжка, уходишь, кажется...

Немного погодя пощупал пульс и заметил:

— Нет еще, нынче не умрет, эту ночь проведет.

Двое русских проснулись и смотрели по сторонам. Мустафы не было. Он с товарищами уехал на байрам в деревню.

Дядя Фатхулла снова успокоился:

— Нет, ночь проведет, не умрет еще...

Мы потихоньку улеглись.

Рано утром разбудил нас Мустафа.

Он по обещанию приехал за нами на лошади, чтобы вместе ехать на байрам.

Как только проснулись, собрались смотреть шакирда. В полутемной казарме его белое искаженное лицо казалось задумчиво-улыбающимся.

Дядя Фатхулла положил шакирду руку на лоб и сказал:

— Пусть цветут твои яблони, бедняжка!

Мустафа уехал один. Мы не решились оставить тело шакирда.

Когда рассвело, пришли со станции жандармы и составили протокол.

Один нашел какую-то ошибку в паспорте покойного, срок вышел будто. Стоявший тут же немец сказал:

— Теперь совсем бис пашпорта мошно!

Русские засмеялись.

Жандарм, долго не говоря, взял паспорт и ушел.

Перед обедом Мустафа пришел с людьми, и мы похоронили шакирда на мусульманском кладбище при деревне Куянак, в двух километрах от станции. После похорон мы пошли к Мустафе на байрам. Мустафа привел нас в свой дом, построенный из горных глыб; молодежь хотя и заговорила о чагыре, но дядя Фатхулла воспротивился и укорил. Мы послушались дяди Фатхуллы и не стали пить чагыр.

Вернулись домой.

Шакирда нашего уже не было.

Мать наверное ждала его к байраму. Может быть, ждала и после байрама, но мы похоронили его.

В родные края вернулся, может быть, только его паспорт.

1912 г.

НА ЗАРАБОТКИ

(Авторизованный перевод)

С тех пор прошло много времени. Была середина марта. На одной маленькой станции между Баку и Дербентом нас высадили из поезда, как безбилетных.

Поезд, погромыхивая, скрылся вдали. Вечерело. С одной стороны в жидком тумане широкой грудью выступали высокие горы, с другой — расстиралось Каспийское море. Между ними

в низине расположились красноватые станционные постройки, такие жалкие среди величавой природы, похожие по размерам на скворешники. Как-то неудобно было смотреть на них.

Вошли в станцию. Буфетчик армянин убирал бутылки, и какой-то человек в барашковой шапке возился около. Вскоре вышел жандарм, подошел к буфету, прикурил папиросу и обратился к нам:

— Почему вы не уехали с поездом?

Мой товарищ, немного растерявшись, сказал:

— Ищем работы.

Жандарм показал рукой дверь, махнув ею, как будто подметал станцию, и буркнул под нос, что станция — не постоянный двор.

Пришлось выйти. Со стороны моря дул холодный ветер, солнце садилось за горы. Моря ясно не было видно: до него на несколько верст тянутся кустарники и пески. Вдали, в трех-четырех километрах по направлению к морю, возвышались, как вскопанные, нефтяные вышки.

Так некоторое время мы постояли, озираясь по сторонам, поглядели друг на друга.

Сзади горы, спереди море, в стороны пропитанные нефтью проезжие дороги и рельсы, уходящие далеко-далеко...

Все шло одно к другому...

Товарищ почему-то сначала нащупал руками шапку на голове и, показывая вперед, сказал:

— Идем вон на те промыслы. Авось, кто-нибудь из знакомых найдется, — и потом быстро добавил: — Не найдутся, не все ли для нас равно!

Конечно, было все равно.

Пошли. Вечерний холодок уже успел подморозить. Грязи не было. Мы пошли не дорогой и не видневшимися в кустах тропинками, а напрямик к передней вышке.

В лицо дул ветер, несколько мешая нам идти. В шуме кустов слышалось что-то, похожее на звуки курая.¹

Становилось веселее. Прежнего чувства тоски, как при отходе поезда, не было. Ведь мы идем к своим товарищам рабочим. Сейчас вечер. Рабочие собрались в казарму, пьют, едят, играют, смеются, а некоторые из них и поют песни.

Ссадили с поезда. Если бы нас не ссадили, доехали бы до Дербента. Хорошо, если бы сразу по приезде удалось наняться

¹ Татарская флейта.

на рыбные промыслы. У нас всего-навсего осталось восемьдесят копеек. Как бы пришлось жить? Здесь не город, да и скорей можно найти работы. Вот нефтяные промыслы, а там на берегу моря тянутся рыбные.

Всю дорогу мы проговорили таким образом. Но и здесь дело вышло не так.

Мы шли с надеждой встретить промыслы, полные жизни, но увидели только одни пустые, словно развалины, здания. В казармах ни звука, темно. Около вышки ни души. Стоит она одна, озябшая от ветра. Только в стороне в небольшом флигеле виднеется огонек. Еще не стемнело. Заря убавляет темноту. Сзади нас громко залаяла собака. Вздогнули. Обернулись. Стоявший человек сердито остановил собаку и на ломаном русском языке начал расспрашивать нас.

— Кто вы? Что вам здесь нужно?

Это был человек низкого роста, в высокой мохнатой шапке; судя по голосу и виду, старик.

Он позвал нас в дом. Навстречу поднялся человек с удивленными глазами, полный, лет под сорок, с черной бородой.

Старик, показывая на него, сказал:

— Ваш земляк.

Оказалось, в этом домике живут трое: старик из Дагестана, казанский татарин и еще одна больная женщина.

Земляк принял нас приветливо. Сначала мы оставались нераздетыми, но потом он упросил нас раздеться, как гостей.

— Дом теплый. Чужих нет.

Его удивление по поводу нашего появления быстро исчезло.

Из разговора мы узнали, что он караульщик.

Земляк стал нас расспрашивать, где мы были, откуда идем. Мы, конечно, не скупилась, перебивая друг друга, рассказывали о своих мытарствах, начиная с прошлого года и кончая сегодняшней неудачной поездкой по железной дороге.

Почему не рассказать? Тепло. На плите кипит чай. Старика не было. Вышел. Больная женщина молча смотрела в потолок, прислушиваясь к разговору. Когда мой товарищ стал рассказывать, как он зимою был на Садонских шахтах и испытывал большие лишения, не найдя там работы, больная пошевелилась, обернула лицо к свету и проговорила:

— Халил-абзы!

Наш земляк торопливо ответил:

— Да, да, сейчас я хотел спросить.

И обернулся к нам:

— Вы, оказывается, были на Садонах? Там должен быть один молодой человек по фамилии Валеев.

Больная опять пошевелинулась и к словам Халил-абзы добавила:

— По имени Гумер.

Мы его не знали. Чувствовалось, что было бы хорошо, если бы его знали. Стало неловко.

Кто же этот самый Гумер? Почему так они внимательно о нем расспрашивают, в особенности бедняга больная.

Случается ведь иногда — и не за свое дело чувствуешь ответственность.

Как хорошо и радостно было бы сообщить этой больной, раскрывшей с надеждой затуманенные глаза, что мы что-то знаем о необходимом ей человеке.

Вероятно, на Садонах было около десяти мусульман и не со всеми нам пришлось познакомиться. Мы работали там всего три-четыре дня, поженно, перетаскивая камни, и получили расчет, в виду отсутствия иной работы. После расчета мы, одиннадцать человек, пошли домой. Даже прежние рабочие на Садонах жаловались на плохой заработок и надеялись проработать только до начала лета. Среди мусульман была молодежь, были и татары средних лет. Кто знает, который из них Гумер?

Халил-абзы объяснил нам дело вот как: Гумер приходится ему зятем, он — муж его больной сестры.

Раньше они работали в Баку на нефтяных промыслах. Прошлым летом нанялись сюда, но в новооткрытых промыслах исчезла нефть, и приходилось подумать о новой работе. Услышав, что на Садоне хорошие заработки, они бы отправились туда, если б не заболела Марфуга лихорадкой. Что делать! Гумер — человек молодой, здоровый. Халил-абзы отправил его в Садону, а сам нанялся в караульщики и остался около больной Марфуги до ее выздоровления. В первое время Гумер писал часто письма, работы не хвалил, а потом совсем перестал писать. А Марфуга все болела да болела. Попробовал Халил-абзы поместить ее в больницу, не приняли.

Все это рассказывал Халил-абзы с каким-то жаром, должно быть — от внутренней боли, а Марфуга лежала и молча смотрела в потолок. Она как будто обиделась за то, что мы были на Садонах и не принесли весточки.

Окончили пить чай, когда вернулся старик. Халил-абзы поднялся и проговорил, обращаясь к нам:

— Моя очередь караулить, а вы пока посидите с дедушкой. — И добавил, показав рукой на кровать. — Если захочется прилечь, вот вам моя койка, на ней и вдвоем можно поместиться. Мы с дедушкой по очереди спим.

Вышел. Старик над плитой согревал руки. Мы сидели молча. На дворе ветер посвистывал, постукивал. Поминутно слышны были в доносившихся звуках чьи-то крики, визг, стоны.

Между тем старик достал откуда-то старую мандолину-чагур, начал настраивать и несколько раз ударил по струнам. А как же больная? Может быть, эта музыка ее побеспокоит? Товарищ сказал об этом старику.

На это услышавшая их разговор Марфуга ответила мягким голосом:

— Пусть играет... я люблю.

И старик начал играть.

Если в это время смотреть на прожившего век старика с белой бородой, с пожелтевшим лицом, со впавшими, выцветшими от времени глазами, то мелодичные звуки струн как будто пели о прошлом, о славном прошлом Кавказских гор, о прошлом Каспия и былых днях Поволжья.

Если смотреть на развалившуюся койку, на старую кровать и закутанную в оборванное одеяло больную женщину с погасшими, уставленными в потолок глазами, с высохшими тонкими губами, то струны как будто плакали и пели, что все на свете проходит!

А на дворе шум, свист, вой и визги ветра как-то пропадали, сливаясь с мелодичными звуками чагура.

О чем думала в это время больная Марфуга, устремив глаза в потолок? О родном Поволжье? О Садонских шахтах? О Гумере? Или о чем другом, что не относится ни к Поволжью, ни к шахтам, ни к Гумеру.

Мы улеглись спать только после полночи. Утром земляк нам сообщил, что на рыбных промыслах поблизости можно получить хороший заработок, но еще рано. Что до начала работы можно пожить здесь.

Прошло три дня. Больной становилось все хуже и хуже. Целый день молчит, а по ночам бредит.

В день нашего отъезда она чувствовала себя лучше, жаловалась только на головную боль, просила поправить подушку. Выпив полчашки чаю, пролежала с закрытыми глазами без движения долгое время.

Пожелтевшее восковое лицо, на щеках легкий румянец, глубоко вздымающаяся грудь — ветром волнуемое море. Она — невинный ребенок, погрузившийся в счастливый спокойный сон.

Но это спокойствие не долго продолжалось: как раз перед нашим уходом она начала мучиться и бредить. Она плакала, говорила бессвязные слова, задыхаясь на каждом слове. Некоторые слова как будто относились к нам.

— О, боже, были и не сказали... Мать не придет... его нет... Откуда он узнает, если ему не сказано... Он пришел бы... Не знает... Ему не сказано...

Помолчит, глядя в потолок, и снова, снова:

— Сказали, вот спасибо... Идет, говорите?... Вот и мама придет, вот и мама придет... Сам идет... Милый... Иди скорее!.. Разве можно так долго идти?... Вот спасибо!..

Так она бредила, а Халил-абзы, подперев руками подбородок, плакал. Старик сидел у плиты и о чем-то думал, устремив взор на пол.

Халил-абзы вышел провожать нас. Солнце поднялось довольно высоко. Халил-абзы, придавая деловитый вид своему грустному лицу, сказал нам:

— Как только выйдете на эту горку, то увидите промысла Дадашевых и прямо идите туда.

Когда мы отошли шагов двадцать, он кликнул нам вслед:

— Если Дадашев не даст хорошей платы, идите к Шигалову. Это тоже оттуда недалеко.

С тех пор прошло много времени, много воды утекло, и все еще мне помнится то начало лета, холодные скучные ночи и, как живая, мне рисуется картина в пустой казарме. Лежит больная, устремив глаза в потолок в ожидании мужа. Старик дагестанец играет на чагуре, а Халил-абзы, взяв подмышку двухстволку, ходит по вымершему промыслу.

1912 г.

А Х М И Д И Е В

КРЫЛАТЫЙ ЖЕРЕБЕНОК

В деревне весна. Последние дни мая подходят к концу. Пока нет полевых работ, вся деревня дома. Мальчики днем играют на лугах, купаются в речке, гоняются за бабочками, вечером играют в «лошадки», нарушая тишину деревни громкими криками; девочки же днем купаются в речке, с боязнью, как бы мальчишки не унесли платков и рубашек; бегают по лугу, гоняясь за перьями и бабочками, к вечеру играют в камешки — «Биш-таш» и в «гости», а в сумерки приступают к другим более занимательным играм: «кры чегеть», «киртень би» и «кууш». Я тоже деревенский мальчик. Играю больше всех: с утра до вечера весь день провожу на лугу, купаюсь в речке, бегаю по полям, нисколько не думая о доме. В жаркие дни, словно утка, купаюсь в воде беспрерывно.

Только вот сейчас меня занимает нечто другое: наша гнедая кобыла стала жеребой. Теперь последняя неделя. Я не хочу ни купаться, ни играть; если я пойду, то только на самое короткое время. Я жду жеребчика и жеребчика. Жду днями, ночами; не пью, не ем, все жду.

Возвращающиеся с купанья мои приятели заходят ко мне и заводят речь о жеребенке, высказывая свои мысли об этом. — Какой будет жеребенок: жеребчик или кобылка, ворона или гнедая, пегая или карая?

— Будет жеребчик, — говорит один. — Если бы была кобылка, то давно бы ожеребилась, кобылка долго не носится. Вон жилки на брюхе, как припухли, — жеребчик!

— Нет, будет кобылка, — говорит другой. — Нынче год такой: у всех кобыл кобылки.

— А ведь у Атюковой кобылы жеребчик!

— Какой Атюк? Который на том краю деревни живет?

— Да.

— Ей-богу, у них кобылка... Их кобыла никогда жеребчиком не жеребилась. По-моему, кобылка. Давай побьемся об заклад!

— Давай. Думаешь, побоюсь? Вот только еще вчера вместе с поля ехали с отцом, когда от Конуковской мельницы возвращались. Отец и говорит: «Будет хороший жеребчик, бока раздались, все четыре ноги на четыре места поставлены, спина стала шире, — приметы жеребчика.

Раз в таких спорах мальчишки чуть не дошли до драки. В тот момент из дверей вышел отец и сказал:

— Дети, зачем тут возитесь? Разойдитесь, лошадь укусит! С другой стороны подошла мать и добавила:

— Отец! Как бы кобыла не ударила Шакира, он беспрестанно здесь вертится, прямо бредит жеребенком, не играет, не пьет, не ест, кобыла не смиренная, как бы чего не случилось!

Отец, в чалме, в зеленоватом чапане¹, с можжевелевой палкой в руках, шел к полуденному намазу. Услышав голос матери, он приостановился, повернулся к нам и ласково позвал:

— Сынок Шакир!

— Здесь, отец, здесь! — тотчас же отозвался я.

И отец подошел к нам в заднюю конюшню. Лежащая на соломе пегая кобыла почувствовала хозяина, шевельнула своими красивыми ушами, покачнулась всем телом, как бы желая приподняться, но заметив, что отец не подходит к ней ближе, заняла прежнее положение и продолжала спокойно греться на солнце. Все же она казалась немного обеспокоенной, ее большая густая черная грива и хвост лежали на земле. Взглянув на кобылу и произнеся: «Субханалла»,² отец что-то прошептал и затем сказал:

— Хорошо еще, что во-время ее отделили от стада... совсем отяжелела... Бог даст, может быть, завтра ожеребится. А вы, дети, уйдите отсюда.

Слова отца, что кобыла ожеребится очень скоро, еще крепче привязали меня к будущему жеребенку. Мне казалось, что я не дожидусь завтрашнего дня, что день очень долгий, а солнце только перешло за полдень. Когда-то будет вечер? Когда-то пройдет ночь и настанет утро? Все так долго, как год, как целая жизнь!

¹ Верхняя одежда у муллы — халат

² Слово в склициании у моголов при виде какого-нибудь необыкновенного явления или вещи; означает: слава аллаху.

А сам не перестаю думать о том, какой будет жеребенок: «Жеребчик или кобылка? Вороная, пестрая, гнедая или карая? По-моему, вот каков он должен быть: жеребчик, блестяще черный, грива и хвост кудрявые, спокойный, не кусается, как наша кобыла...»

Здесь мои мысли были прерваны восклицанием одного взрослого мальчика, который, посмотрев на кобылу и поправив почерневшую с оборванными краями и похожую на репень тюбетейку, сказал: «Эх, малай! Если бы жеребчик был крылатый, вот была бы штука!» Я мгновенно перевел взгляд на его худое лицо с большими красивыми глазами и проговорил: «Разве жеребенок бывает крылатый? Это ведь не птица».

— Бывает, бывает и крылатый конь.

После этого я начал его расспрашивать самым тщательным образом.

Он сел на столб у забора, опустил почерневшие босые ноги, и начал лениво рассказывать:

— Ну, бишь, как его, тот караульщик у полевых ворот, старик Шайдук, был очень богат; вон те дома богатого Садыка раньше принадлежали ему. Шайдук был самым богатым в деревне. Теперь он в награду за снопы караулит ворота. У Шайдука, когда еще он был очень богат, был крылатый конь. Его крылатый конь мгновенно везде появлялся; никогда ни один конь, ни один скакун не мог его обогнать. На «сабантуйях»¹ всех деревень и городов его конь шел впереди всех. И в казанском «сабантуе» ни одна лошадь не могла опередить его.

Однажды в Казани был устроен большой-большой «сабантуй», на нем появились самые лучшие скакуны. На этом «сабантуе» среди аргамаков² и скакунов богачей лошадь Шайдука казалась только жеребенком... Собравшаяся толпа, увидев этого маленького коня, удивленно спрашивала, для чего привели сюда это посмешище.

Коней послали на скачку верст за двадцать пять. Смотрят, что-то несется величиной с зайца, кружится, как веретено. Все вздрогнули: чей да чей конь? А конь прилетает точно птица... Это Шайдуков конь! Самый конь, как ни в чем не бывало, только помахивает головой и вновь рвется вперед; других коней еще вовсе не видать. Тут кругом поднялся шум, гам... Шайдуку говорят, будто его конь не дошел до линии, а свернул

¹ В самый национальный праздник татар. Устраивается борьба, скачки лошадей и т. п.

² Породистая лошадь.

недалеко отсюда. Шайдук не смутился: «Когда подъедут ваши кони, пустим их вновь, тогда увидим».

Вот прискакали остальные кони, все в пене, не могут отдышаться, пот с них льет, как из ведра. Богачи набросились на своих всадников-мальчиков с расспросами о том, дошел ли до линии Шайдуков конь. Мальчики ответили, что тронулись все вместе, и что Шайдуков конь до линии дошел. «Как только тронулись, Шайдуков конь мгновенно исчез из глаз, думали, что отстал». Не поверили и этим мальчикам. Опять поднялся шум, гам. Тут Шайдук вымолвил:

— Если не верите, то кто из вас побьется об заклад?

Один из богачей, толстобрюхий казанский купец отозвался:

— Давай тягаться с моей лошастью. Я ставлю тысячу рублей!

— Хорошо, клади деньги! — ответил Шайдук.

Положили по тысяче рублей. Коней пустили за тридцать верст. Тут все стали насмехаться над Шайдуком: «Деревенский татарин проиграл тысячу, тот аргамак сумеет два раза обогнать жеребенка».

И вдруг, малай, вдаль перед глазами всех показался конь; он несется точно клубок, летит и летит, словно птица. Оно и не похоже, чтобы скакал, лишь катится, вертится, вертится... «Чей конь?» — «Шайдука!» Поднялся шум. Шайдуков конь словно ласточка, пронесся мимо.

Коня толстобрюхого богача и не видать еще. Богач то бледнеет, то краснеет, не может вымолвить слова. Шайдуков конь, не моргнув и глазом, готов еще лететь. Тот аргамак едва дошел до места, весь в пене и в поту. Весь народ удивленный хлынул смотреть на коня Шайдука. Начали дарить и дарить: один дарит ему чапан, другой ичиги, третий рубахи и бешмет... Над казанским же купцом только насмехаются... Тут он, от стыда подозвав Шайдука, начал предлагать ему:

— Вот тебе, Шайдук, выигранные тобой тысяча рублей, а если согласишься поменяться конями, то в придачу получишь еще три тысячи рублей!

Шайдук только засмеялся:

— Твой аргамак не стоит и одного копыта моей лошади, одна ее грива стоит три тысячи рублей. Если тебе нужны деньги, то я сам могу тебе их дать!

После того богач еще более обиделся, не зная, что делать. Вслед за ним казанские богачи стали набавлять цену за Шайдукова коня: один давал пять тысяч, другой шесть, третий

семь тысяч... Шайдук никому не дал коня. Богачи обиделись еще больше. Не сумели взять Шайдукова коня за деньги и с досады решили коня отравить. Для этой цели наняли человека. Он вошел в конюшню будто бы дать коню овса, сам же дал ему мышьяк. Сам он словно так рассказывал об этом:

— Раз потихоньку крадусь в конюшню, Шайдуковой лошади что-то не видно, гляжу по сторонам, нет и нет! Подхожу к корытцу, приподнялся, смотрю — и не верю своим глазам: Шайдуков конь лежит в корыте, припав ко дну, как заяц, вытянул ноги вперед. От испуга я выронил из рук мышьяк. От шороха конь проснулся и в мгновение ока выпрыгнул на землю...

Этот человек, много выдававший на своем веку, был опытный конокрад.

Далее он прибавил:

— Не приходилось мне видеть такого коня, от жалости чуть сам не выпил яда. Этот конь был крылатый, потому и залез в корыто. Крылатый конь никогда не ляжет на низкую и сырую землю...

На другой день у коня увидели крылья длиной в один обхват.

Увидя труп лошади, Шайдук грянулся о землю и зарыдал.

— Не печалился я так горько при смерти отца и матери, — говорил потом Шайдук.

По смерти коня несчастья посыпались на Шайдука одно за другим; в конце концов он лишился всего своего достояния. Поумирали жена и дети. Раньше у него было полное гумно стогов хлеба, двор полон скота... Теперь Шайдук угла не имеет, зимой ходит по миру, летом караулит полевые ворота.



От жалости к старику я чуть не заплакал. Про кобылу и жеребенка я позабыл. Вся жизнь Шайдука со всей ясностью предстала перед моими глазами. Не дыша, слушал я своего черноглазого приятеля. Не дав закончить рассказ, я спросил:

— Откуда Шайдук достал такого коня?

— Шайдук сам выросил его. Он говорил: у меня была кобыла, привезенная из Башкирии, когда кобыла жеребилась, я сам своими руками поставил на ноги жеребенка, потому он стал крылатым. Если жеребенка поставить на ноги

руками, то он становится крылатым; если руками не ставить, то жеребенок, пытаясь подняться и двигаться, падает и ломает себе крылья».

Черноглазый мальчик окончил рассказ. Ударив тибетейкой по руке, он произнес:

— Вечереет, пора мне, парнишки, итти с ночевой, — и исчезает.

Остальные мальчишки, слушавшие его так же, как и я, разинув рот, тоже разошлись.

Между тем и кобыла встала на ноги, перебирая ртом, словно жуя.

Рассказ о дедушке Шайдуке еще более усилил во мне любовь к будущему жеребенку. Теперь уже я думаю только о крылатом жеребчике, только им и живу. Желание иметь блестяще-черного жеребенка с кудрявым хвостом и гривой сменилось желанием иметь какого-нибудь жеребенка, лишь был бы крылатым и скакуном. Целый день думаю и думаю, все позабыл, сильно только одно желание: чтобы будущий жеребенок был крылатым.

Сказочные мысли овладевают мною: у меня жеребенок крылатый! Он приобрел, как скакуны, известность во всей округе... Я чищу, мою его, надеваю дорогую уздечку... отправляюсь в Казань на «сабантуй», там с насмешкой поглядывают на моего коня так же, как некогда смотрели на Шайдукова коня.

Я про себя и думаю: «Еще увидите, я вам покажу»... Не успели лошади тронуться с общей линии, как мой крылатый скакун вылетает, как птица, тут же оставляя всех скакунов далеко позади, и прилетает первым к народу. «Чей конь, чей конь?» — поднимается шум, суматоха... Мой отец в длинном бешмете, белой барашковой шапке, с можжевелевой палкой в руках проталкивается через большую толпу со словами: «Даст бог, это наша лошадь!», и ласково снимает меня с коня. А богачи уже спорят между собой, каждый желает купить нашего коня. Один дает три тысячи, другой пять, третий семь тысяч... десять тысяч... Отец же с гордостью произносит: «То, что он пришел первым, впереди всех — уже одно это стоит сто тысяч рублей!» А я, боясь, чтобы богачи с досады не отравили коня ночью, упрашиваю отца уехать в тот же день к себе в деревню... Начинаю рассказывать отцу историю Шайдуковой лошади...

Весь охваченный такими мечтами, я с радостным волнением иду в конюшню посмотреть на гнедую кобылу. Всякий раз,

как я смотрю на нее, мне кажется, что она обнадёживает меня.

Дело идет к вечеру. Как бы руками поставить жеребенка на ноги? Сам я не могу, боюсь близко подходить к кобыле... Не приходилось ли моему отцу слышать о крылатых жеребятках? Не может быть, чтобы не слышал, ведь Шайдук до глубокой старости жил с отцом в одной деревне.

Вдруг тут я вспоминаю о нашем работнике и думаю: «Дам ему пятачок, он все сделает». Так и случается. Он соглашается.

— Давай, — говорит, — твой пятак, всю ночь прокараулю, а жеребенка руками поставлю на ноги.

Я с радостью отдаю ему пять копеек и тут же немного успокаиваюсь; уже нет места сомнениям... Жеребенок будет крылатым... Почему другие не знают об этой хитрости? Почему не ставят на ноги руками? Всецело поглощенный такими мыслями, я засыпаю. Но сон — не сон, сновидение — не сновидение. Не успеваю заснуть, как сейчас же вскакиваю, так всю ночь без конца. А между тем передо мною стоит блестящий черный жеребенок. Глаза не могут оторваться смотреть на его красоту. Грива и хвост кудрявые. Прыгает, играет вокруг матери, как ребенок. Я протягиваю ему кусочек хлеба, он, шевеля ушами, подбегает ко мне, откусывает хлеб; чтобы он не лягнул как-нибудь, я, подобрав рубаху, уже готов отбежать. Вот жеребенка нет... Передо мной широкий зеленый луг; с одной стороны — поле, с другой — большой ручей. Моя гнедая кобыла во всю мочь скачет по лугу и ржет изо всей силы. Она без жеребенка, одинокая. Я бегаю взад и вперед, но жеребенка нет и нет. Тут появляется с уздечкой в руках работник Сабир; я спрашиваю его: «Сабир Абан, где жеребенок?» Он молчит, бах-бах, бежит за кобылой, а я за ним. Наконец кобыла уперлась во что-то и дальше не двигается. Сама ржет, фыркает, обнюхивает, опять фыркает и ржет. Подбегаю и я. Не верю глазам: жеребенок лежит зарезанный, не дышит. Я закричал... Меня охватывает сильный испуг... от ужаса я просыпаюсь...

Заря занялась. Час утренней молитвы настал. Отец совершает «таарат»,¹ затем, надев чалму и чапан и взяв можжевелевую палку, отправляется в мечеть. Уже выйдя из ворот, он обращается к матери:

— Мать, посмотри-ка, кобыла ожеребилась, детей не допускать до нее, она укусит или ударит, — и опять отправляется.

¹ Предмолитвенное омовение у магометан.

Я услышал слова отца, мои заспанные глаза раскрылись так, как будто и сна не видали. Я, позевывая, бегу во двор. Мать меня не заметила. Встречаюсь с работником, спрашиваю:

— Руками поставил на ноги?

— Всю ночь не смыкал глаз, руками ставил, на землю не падал, жеребчик оказался, — отвечает он.

Тут я лечу, как стрела, забираюсь на забор, удивлениям моим нет конца... Жеребчик, блестяще-черный, грудь широкая, грива маленькая, кудрявая... Хвост — точь-в-точь такой, какой я желал иметь... Нет, даже красивее, чем я думал. Прислонившись к матери, он, как испуганный ребенок. Мать же все лижет и ласкает его, не может оторвать свою голову от дитяти. Едва жеребчик отойдет в сторону, как она с ржаньем подходит к нему. У меня страшное желание обнять жеребенка за шею. Вдруг жеребчик оборачивается на меня, к удивлению своему я вижу на его лбу белую звездочку. Он такой красивый и милый, что от радости у меня исчезли и дрожь и зевота. Приходит мать в легких на босу ногу башмаках, с большим тазбиком¹ из пальмовых косточек в руках.

— Шакир, когда же ты успел притти сюда? Я думала, что ты спишь еще. Иди, дитятко, иди домой, не то увидит отец, рассердится! — обратилась она ко мне.

— Я близко не подхожу, только смотрю с забора, — оправдываюсь я.

Мать подходит ко мне, недолго смотрит на жеребенка, что-то бормочет и снимает меня с забора:

— Субханалла! Он очень красив... Тьфу, тьфу!.. Бог даст, отец отдаст жеребенка тебе, — говорит она.

Я снова ложусь в постель, но сон давно исчез. От радости бьется сердце. «Черный жеребенок... вдобавок жеребчик... кудрявая грива, кудрявый хвост; сверх того — со звездочкой на лбу... но самое главное то, что жеребчик крылатый» — думаю я. Я каждый день рано утром, еще не умывшись, иду смотреть на жеребенка. Если он дома, не в поле, я долго воюю с ним, подзываю его, дразню; если же он в поле, то с нетерпением жду его возвращения; возвращается, — в ту же минуту бегу ему навстречу с куском хлеба:

— Бак-бах, княш-княш!²

¹ Четки.

² Кличка для лошадей.

В жаркий день он отмахивается хвостом от мошкеры, пробегает в тенистое место, кашляет красиво, как ребенок, фыркает; в прохладный и дождливый день терпеливо стоит возле матери.

Если к нему начинают подходить овцы, козы и телята, то насторожившись, он готовится их лягнуть. Тут я радуюсь и смеюсь, говорю:

— Смотрите-ка, смотрите, как жеребчик лягается!

Сам все стараюсь приручить его, только кобыла стала злой: если подходишь ближе к жеребенку, сейчас же сердито приостанавливается, свернув и насторожив уши, готовая защищать его. После долгих хлопот и ухаживаний жеребенок стал привыкать ко мне и идти на зов, но поймать себя не дает: подойдет близко и, повернувшись, опять убегает. Работник сделает мне маленькую, красивую уздечку, а я постараюсь обзавестись маленькой тележкой.

Все в доме любят жеребенка, только о нем и говорят. Иногда, когда сидим за чаем или обедаем, а жеребенок с матерью приоскакивает домой, тогда мы вдруг забываем обо всем и начинаем говорить только о жеребенке. Раз мать сказала:

— В доме, где есть ребенок или молодой жеребенок, не бывает сплетен и пересудов.

Отец добавил:

— Это так и есть!

Уж давно жеребчика прозвали «жеребчиком Шакира». Когда отец за что-нибудь сердился на меня, то говаривал:

— Этот жеребчик очень сосет кобылу, вытягивает, когда-то еще подрастет, надо продать его!

Когда же он ласков ко мне, то говорит:

— Бог даст, Шакирова жеребчика я выращу, куплю ему красивую уздечку, тележку и сбрую, запрягу, покатаю Шакира на полях и лугах, повезу в гости; когда же будем возить Шакира учиться в город, то туда и обратно я запрягу этого жеребца.

А у меня на уме крылатый жеребчик, скакун, сабантуй, казанский сабантуй... И несутся одна за другой прекрасные мечты; и днем и ночью одно и то же. Наступает середина лета. Крестьяне спешно готовятся к пашне под пар. Начинаются непрерывные хлопоты о плугах и боронах. Приготавливают необходимые железки, вяют веревки. Тюбетейки сброшены, рукава засучены, воротники расстегнуты. Вот к работе готовы. Начинается пар. Шум от плугов нарушает деревенскую

тишину, все поле пестреет людьми. Рано утром жаворонки, соловьи тысячу песен, тысячу голосов поздравляя, встречают пахарей. Возвращающиеся с поля парни поют свои песни, как бы вторя соловьям. Наш работник Сабир заранее приготовился. Он в пятницу после Джумга¹ в добрый час отправляется пахать. Мать после его ухода дает подаяние за благополучие. Мы с отцом запрягаем и с жеребенком отправляемся в поле смотреть хлеба. Поля удивительно красивы. Рожь густая, крупная, уже колосится, она так высока, что спина маленькой лошади тонет в ней: местами колыхнется, как волна. Так хорошо и приятно! Отец, по выезде в поле, читает «Ясин»² и долго молится. Произносит: «Хорошо бы, если бы во-время и дождей!» Обернулся и смотрит в другую сторону. А день солнечный, жаркий. Отец говорит:

— С южной стороны темнеет, как будто к дождю.

Мой жеребенок играет, не наиграется; то отстанет от нас, то из всей мочи несется вперед и, мгновенно подлетая, смяв по пути рожь, проносится мимо телеги впереди матери. Ну, и скачет, с какой бешеной силой! Опять отстанет и опять скачет. А я думаю: «Без сомнения, жеребчик имеет крылья!» Я не замечаю ни колосистой ржи, ни слов отца, все лишь наблюдаю за движениями жеребенка. Если жеребчик отстанет, я тотчас подзываю его: «Княш-княш!» — и слежу, чтобы он по чьим-либо следам не ускакал от нас; если он проходит мимо телеги, стараюсь погладить его по спине.

Миновав рожь, мы подъехали к яровым хлебам. Овес и пшеница хороши. Их густые, толстые стебельки и темновато-бархатные листочки прямо красивы. И на этих полях отец, прочтя какую-то молитву, говорит:

— В этом году оба поля хороши, слава богу; будет много овса, и твой жеребчик, бог даст, всю зиму будет в хорошем теле. Пусть все будет к радости и благополучию.

По возвращении работника с поля отец идет к нему. Я провожаю жеребчика; он, фыркая и отмахиваясь от мух, идет за матерью. Я иду к реке и, покупавшись вдоволь, возвращаюсь и ложусь спать. Вспоминаю, как жеребчик днем бегал и играл возле телеги. «Скачет быстро, с силой и красиво, как далеко и легко прыгает», — думаю я. Среди таких дум засыпаю. Вдруг во сне или наяву я слышу: кобыла ржет.

¹ Пятничная праздничная молитва в пятницу.

² Глава из корана.

Хочу встать, но не могу. Ржанье все раздается. Вдруг я очнулся: и вправду, кобыла ржет на всю деревню! Радуюсь возвращению жеребенка, я, как стрела, выбегаю во двор... Кобыла привязана к столбу, фыркает, бешено ржет и изо всей силы рвется от столба. Отец и работник что-то делают на том месте, где обыкновенно режут скот. Что я вижу? Не верю глазам своим! У моего крылатого жеребчика связаны ноги, он лежит, голова повернута на юг...¹

— Отец, что вы делаете с жеребчиком? — кричу я.

Сильно обеспокоенный, отец отвечает:

— Он сломал ногу о плуг, дитя мое! — и добавляет. — Видно, не в добрый час мы вышли в поле...

Я, рыдая, весь в слезах, смотрю на своего жеребчика. Он бьется, тяжело дышит и, как будто проливая слезы, умоляет: «Мать, родимая, возьми меня, спаси меня!» Смотрит печальными глазами. А я еще более огорчен, убит горем... К тому же кобыла рвется, чуть не сорвала веревку, не зная куда деться, и все ржет. Мне очень жаль ее, сердце у меня разрывается. Прощай, черненький крылатый мой жеребчик, со звездочкой на лбу! Еще очень долго я не могу забыть моего крылатого жеребчика. Всякий раз, как прохожу мимо полевых ворот, вспоминаю крылатого жеребчика, жалею Шайдука, и сердце мое опять разрывается.

Перев. С. Тагирова.

¹ Так кладут скот магометане перед тем, как его резать.

БРЮКИ

Старый мулла Валиулла чувствовал к брюкам острую, глубокую ненависть.¹ Безбожье и непочтительность к старым учителям-муллам нашли в последнее время широкое распространение среди молодежи; во всем этом, казалось ему, были виноваты эти самые проклятые русские брюки... В добрые старые времена еще не носили это «вражье одевание», а сейчас оно буквально наводнило весь мусульманский мир. На кого только ни посмотришь, все понадевали брюки!

Правда, Валиулла-хазрет не склонен был придираться к шароварам сеидов-арабов, которые приезжали сюда в месяце Рамазане, во время поста. Ибо эти шаровары, шириною в целый мир, отнюдь нельзя было назвать брюками. До сих пор еще никто не измерил ни глубины их днища, ни ширины штанин. Это не то, что противные шарияту узкие брюки урусов.

Вот за этим единственным исключением Валиулла-хазрет был врагом всех брюк в мире. И в его медресе никто из двухсот шакирдов не смел носить брюк; из 600—700 мужчин его прихода ни один не носил этой части костюма.

Однако вам хорошо известно, у нас в году бывают довольно холодные времена. Вообще ведь наша «Болгарская страна» отличается холодным климатом! И вот, благодаря молитвам хазрета, купцы из его прихода, ежегодно ездившие с обозом на ярмарки в Ирбит и в Мензелинск, прекрасно обходились без брюк даже в самые лютые морозы. Говорят, пужда научает

¹ Лет 50—60 тому назад старозаветные татары и особенно муллы-обскуранты не терпели европейских брюк, так как, по их мнению, ношение брюк, как костюма кяфиров (неверных), было противно исламу.

Прим. пер.

и из каждой беды есть выход; и прихожане одевали в таких случаях вместо брюк стеганные на вате синие штаны с борами.



Однажды Валиулла-хазрет ехал в тарантасе по улицам Старо-татарской слободы.¹ Он был приглашен на свадьбу в дом одного богатого купца. То было в теплый весенний день, когда солнце, растопив снега, превратило улицы города в сплошное море грязи. Как на грех, навстречу ему попался шакирд из его медресе, сын деревенского муллы, по имени Сеид-Герей. Хазрет, как строгий блюститель нравственности, сразу обратил внимание на необычайный костюм своего воспитанника. Весенний ветер трепал фалды долгополого зияна² шакирда, который с важным видом прогуливался по тротуару, а под зияном виднелось что-то черное. Увидя это, старый мулла тотчас остановил лошадь и, взбешенный, соскочил с тарантаса прямо в грязь.

— Эй, как тебя там, мулла Сеид-Герей, никак ты надел брюки? — вскричал он.

Сеид-Герей чуял, что эта встреча добром не кончится.

— Таксыр,³ — сказал он смущенно, — это такие черные штаны...

Хазрет пощупал брюки рукой.

— Ах, шайтан, бесстыдник! Что же это такое, как не брюки? Они и есть вражья одежда! Это и есть причина позора всего мусульманства!

— Таксыр, это только так, от холода я... — начал было шакирд, оправдываясь, но это его не спасло.

— Нет, сними, сними! — приказал строго мулла.

— Хорошо, таксыр! — промолвил шакирд и хотел было уйти во-свояси. Но не тут-то было. Хазрет остановил его.

— Ты куда? Нет, снимай сейчас же! — закричал он. — Нет тебе иначе моего благословения, решительно не дам...

— Таксыр, — взмолился молодой человек, — пожалуйста, разреши дойти обратно до медресе; там уж я сниму. Ведь, ей-богу, опозорюсь я: ничего у меня под ними нету.

— Нет, сними сию же минуту, тут перед моими глазами! Сними врага! Нечего тут долго раздумывать. Иначе сейчас же оставь за непослушание мое медресе. Не будет тебе ни-

¹ Часть г. Казани, преимущественно населенная татарской буржуазией.

² Татарский верхний костюм в виде халата с отложным воротником.

³ Почтительное обращение к муллам.

какого благословения! Клянусь богом, прокляну... И отцу твоему напишу...

— Умоляю, дай отсрочку, хазрет!

В это время около них остановились русский стекольник и одна старуха нищенка. Постепенно около этой группы стала собираться праздная уличная толпа.

— Не позорь меня перед народом, хазрет! — продолжал плакаться бедный Сеид-Герей.

— Нет, — настаивал мулла, — нет на это моего согласия. Эта гадость из всех гадостей — позор всему мусульманству; каждый твой шаг оскорбляет весь мусульманский мир... Снимай!

Что же делать шакирду? Неужели оставить школу? Куда пойдешь? Пожалуй, придется снять...

Да, в те времена люди еще не были так безбожны, как теперь; тогда еще умели ценить учительское благословение... И Сеид-Герей согласился снять. В разговор вмешался стекольник, русский:

— Молодец, мулла! — сказал он. — Так и надо разделяться с ворами. Хочешь, я сам пойду в суд за свидетеля?

Так подбадривал он хазрета. По незнанию языка бедняга думал, что тут дело касается кражи брюк. Он ввел в заблуждение и нищую татарку:

— У, подлец! — сказала она. — Сам еще учащийся-шакирд, а брюки украл...

Она была вполне солидарна со стекольником.

Наконец Сеид-Герей принялся снимать брюки. Когда он под зияном развязал полотенце, обернутое вокруг талии вместо кушака, что-то громоздкое и широкое упало на землю. Это был подол какого-то другого платья. Затем он снял и самые штанины.

Как вы думаете, чем оказались брюки, так напугавшие нашего хазрета?

То было не что иное, как другой зиян, только надетый в обратном направлении. Чтобы «пофорсить», Сеид-Герей занял у товарища зиян, надел его рукава себе на ноги, а полы обвязал вокруг талии под платьем. В таких самодельных брюках пошел было он щеголять по улицам города, да к несчастью, навстречу попался сам хазрет...

Да, друзья мои, в былые времена умели строго блюсти все веления и запреты шариа.

Перев. Али Рахима.

ТЮБЕТЕЙКА С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Тюбетейщик Самигулла-абзы, занятый подсаживанием тюбетеек на колодки,¹ вдруг приостановил свою работу. Жена его Минне-Бикэ-абстай стояла перед горячей печью и пекла оладьи. На окне, скрипя и дребезжа, вертелся вентилятор.

— Погоди-ка, жена, — сказал он, — оставь на минутку: я кой что хочу сказать тебе... Тот, Закир, ушел? При нем не скажу; пусть не узнает. А то он сам еще начнет делать. Хитрый он человек.

— Подожди, старик, не надоедай! Сейчас приедут дочка Магруй с зятем; вон уж скоро семь часов...

— Подожди ты, оставь! Кончай эту сковородку и иди сюда!

— Вот готово! Сейчас иду! — сказала Минне-Бикэ и, отирая руки о фартук, подошла к мужу.

— Ну, что скажешь?

Самигулла-абзы взял в руки посаженную в колодку тюбетейку и начал:

— Вот я выдумал новое изобретение. Вот видишь? Тюбетейщик Лут-Фулла пустил в ход новую выдумку: он сделал наверху тюбетейки четыре дырочки. Говорят, доктор-мусульманин похвалил его за это: теперь, говорит, для головы будет вентиляция; у татар, мол, больше голова не будет болеть, так как все время свежий воздух будет притекать во внутрь чапашки. А я то уж совсем на японца стал похож: выдумал совершенно новую махинацию.

— Ну, ну, говори скорее! Станешь японцем, хвастунишка ты эдакий... Чего еще там выдумал?

— Вот что я сделаю, — продолжал Самигулла, — видишь на окне вертится вентилятор: дrr, дrr, дrr... Вот такую же вертящуюся штуку я хочу приделать к отверстиям на тюбетейке. Понимаешь? Малюсенький такой вентилятор... И будет вертеться: дзинь, дзинь, дзинь! Совсем как соловей будет петь.

— Ты приделай его и к нашим колпачкам, — сказала равнодушно Минне-Бикэ, — пускай и нам будет прохладно.

— Я сначала сделаю к тюбетейке, а там дойдет очередь и до ваших новомодных колпачков не больше воробьиной

¹ В прежнее время тюбетейки в Казани изготовлялись кустарями-одиночками или же кустарями на дому по мануфактурной системе.

головки.¹ Ну-ка, дай мне ножницы и жестянку из-под монпансье, которую я намерен принести с базара. Сейчас начну делать.

— Ну, тебя! Зачем зря портить коробку? Я в нее мыло положила.

— Дай, говорю тебе! Отдай сейчас же. Тут человек хочет сделать тюбетейку с вентилятором, уничтожить, так сказать, головную боль у всей нации, а ты: «мыло положила».

Минне-Бикэ покорно стала искать коробку.

— Фу, ты! Не даешь даже оладьи допечь. Тут печка у меня догорает, а ты со своими выдумками. Хвастунишка!

— Ищи, ищи... Вот как станут меня в газетах расхваливать, сама, небось, будешь довольна. Все будут у меня заказывать тюбетейки. А я еще там объявление такое в газету пушу: «Я, мол, тюбетейщик Самигулла-эфенди Гиззатуллин, изготавливаю по предписанию врачей знаменитые целебные поющие тюбетейки... С почтением Самигулла Гиззатуллин». Во! Пускай гремит наша слава!

Минне-Бикэ-абстай все же разыскала какую-то старую жестянку.

— Как же люди будут ее носить? — любопытствовала она. — Ведь она надоест всем своим дребезжанием...

— Нет, это не так, жена. Он будет вертеться только до тех пор, пока из головы не выйдут вон все дурные запахи; а потом он успокоится, не будет больше дребезжать. Вон ведь наша форточка тоже не все время вертится.

Минне-Бикэ ушла к своей печке.

— Ну, делай, делай, — сказала она, — а я допеку свои оладьи.

— Эй, тебе говорю, зятю-то ты ни гу-гу; не то он сам начнет делатъ...

— Нет, нет, боже упаси! Ведь твоя радость — моя радость!

Самигулла-абзы, высунув кончик языка, стал старательно разрезать ножницами жисть.

«Погоди, — думал он про себя, — я это еще так не оставляю... Я сделаю к ним такой вентилятор, который будет вертеться электрической силой, как тот, что в кинема поставлен...»

Перев. Али Рахима.

¹ Еще недавно татарки носили на голове национальный убор — бархатные колпачки, которые по тогдашней моде имели тенденцию к уменьшению в размерах, дойдя наконец до смешного малых размеров.

СОСТЯЗАНИЕ

(Быль)

Вековечный покой широких, как море, степей был нарушен. Огненные машины, пришедшие с той стороны Уральского хребта, стали бороздить их вдоль и поперек. Рты разинули от удивления вольные дети степей — казаки, глядя на этих чудовищных драконов, мчавшихся по железному пути быстрее скакунов, быстрее пущенной стрелы. До смерти пугались от этого невиданного дива их кони; медлительно-важные верблюды, подняв кверху морды, оскалив пасти, ревя дико, заплясали; табуны лошадей, переходившие железную дорогу и лицом к лицу встретившиеся с этим чудом, вдруг повернув назад, во всю прыть пускались вскачь; а бараны, точно зачарованные, стояли, тесно прижавшись друг к другу, и дрожали всем телом.

Так было нарушено извечное величавое спокойствие степей. Безостановочно, поезд за поездом, потекли в казакские степи какие-то невиданные здесь доселе новые люди с бритыми лицами и отвислыми усами. И все ехали и ехали они на восток; ехали, наполнив бесконечные вагоны, ехали с женами, детьми, со своим домашним скарбом.

То было еще невиданное в истории народов явление. Совершалось обратное тому, что повелось веками. Старому великому деду-Уралу, испокон веков стоявшему на страже ворот из Азии в Европу, приходилось быть свидетелем дел, каких он не видел давно. Ибо из Европы в Азию возвращались обратно полчища народов. Уже в продолжение скольких тысячелетий народ за народом шел по направлению к солнечному закату, почтительно огибая горные отроги. Скрипели на всю степную

пирь немазаные колеса их грубых телег, шум от многочисленных стад наполнял воздух. Одетые в шкуры, вооруженные с ног до головы крепкие люди, то голубоглазые с льняными бородами, то смуглые с раскосыми глазами, степенно и без усталости шагали около телег и фургонов, в которых тряслись их женщины и дети, или бешено скакали на конях с душераздирающими воплями, с гиком и свистом погоняя свой стада. И в крепко сложенных фигурах их была обреченность, будто какая-то сверхъестественная сила гнала их в неизвестность.

А сейчас совсем по-иному... Времена переменялись. Должно быть, насытилось наконец ненасытное брюхо Европы: она уже обратно гонит своих сынов в дебри древней родины их предков, в старую безбрежную Азию. Но возвращаются они не в арбах, запряженных быками, как прежде, а в пышущих огнем колесницах; не мечами, копьями и стрелами вооружены они, а косами, серпами, плугами да диковинными машинами. Великое потрясение идет в их лице нетронутым доселе рукой человеческой девственным лесам и степям. Не робко и почти-тельно, как бывало, обходят они хребет старика-Урала, а дерзко разрезав его грудь, проложили себе дорогу; леса его повывернули, скалы разворотили, а через пропасти и быстрые потоки перекинули железные мосты. И вопит многоголосый Урал в ответ дерзновенным свисткам паровозов, в бесилии пропуская потоки новых людей...



Богат и родовит был старик Джунус. Многочисленны были его стада. Но больше всего в жизни любил он быстрых скакунов. Всем своим богатством готов был пожертвовать старый казак, лишь бы заполучить лучшего в стране скакового коня.

И самым дорогим среди лучших его коней был белый жеребец. Во всей казакской земле не было другого скакуна, обогнавшего его в беге, не было лошади, выносливее его.

Старику Джунусу еще ни разу не приходилось ездить на новой машине. Пускай народ хвалил ее за удобство, он все продолжал смотреть на эту выдумку урусов с недоверием и свысока. Действительно, не было ему никакого дела до этой машины. Ведь он прекрасно обходился без нее до сих пор. На что нужна она ему?

Но случилось однажды так, что по своим торговым делам ему необходимо было спешно съездить в дальний город. И

тогда он на грех вздумал воспользоваться железным конем. До ближайшей станции было порядочное расстояние. Он велел оседлать своего любимого белого жеребца мягким киргизским седлом, взял с собой провожатого слугу и поехал.

Джунус не спешил; ехал себе шагом. Да зачем ему спешить: разве машина не подождет знаменитого аксакала Джунуса?

Но, как на зло, когда они подъезжали к станции, поезд только что отошел. Джунус рассердился.

— Не отставай, — сказал он, обернувшись своему слуге, — я его догоню.

Он ударил лошадь нагайкой.

Дорога еще была новая, и поезда ходили не так быстро; но зато скакун Джунуса летел, подобно ветру в степи.

Таким образом началось состязание, это своеобразное состязание всадника с железным конем.

Первые десять верст и лошадь и машина бежали довольно ровно. Поезд пошел быстрее, белый жеребец несколько отстал. Ну вот впереди показался не то полустанок, не то разъезд. Машина замедлила и наконец остановилась.

Джунус догонял. Вот-вот, казалось, доедет. Было уж рукой подать, как эта коварная машина опять тронулась в путь. Вскипел старый Джунус.

— Думаешь, я тебя не догоню? — сказал он про себя и снова погнался на лошадь. Его слуга уже давно отстал от него. Погоня продолжалась. В белом жеребце проснулся дух спорта. Он сам скакал во весь дух, не ожидая поощрения. Казалось, ему самому хотелось, больше чем даже его хозяину, перегнать этого дьявольского коня. Точно бес какой-то вселился в него; уж, казалось, сам Джунус, пожелай он этого, не был бы в силах остановить летевшего во весь дух скакуна.

Все же опять они стали отставать. Но жеребец и не думал еще сдаваться. Пройденные пятнадцать километров были для него ничем. Вот поезд снова замедлил ход... Вот стал. Снова почти догоняет его казак. Осталось уже совсем коротенькое расстояние между ними, но чортова машина, точно дразня его, опять пошла вперед. Окончательно рассердился старик.

— Ах, ты, шайтан-арба! Думаешь, не наступят тебе на хвост?! погоди еще...

Не догнать какую-то там машину, этого незванного пришельца в его родных степях, да еще на таком скакуне, как его бе-

лый жеребец, это казалось Джунусу верхом позора. Таково, кажется, было и мнение его коня; он будто сроду не знал, что такое усталость. И так мчались они оба, сросшиеся телом и духом, человек и животное...

Они уже поровнялись с машиной и ехали почти рядом. Об этом удивительном состязании уже стало известно всем пассажирам. Все окна как гроздьями были увешаны торчащими наружу головами. Свистом и криками подбодряли наблюдатели молодца-казака и его чудесного коня. Удивление было написано у всех на лицах; это было нечто невероятное; это было невиданное зрелище; точно сама старая Азия на своем вечном коне состязалась с Европой.

— Иях!! — слышалось порою удалое, почти победное, гиканье всадника. Пыль столбом поднималась из-под копыт лошади, и длинным хвостом тянулась по серым, поросшим полынью просторам. За ним тянулся, точно состязаясь, дым паровоза.

«Пусть мое имя не будет Джунусом, если не догоню его», думал про себя старик. И, конечно, он догонит, должен во что бы то ни стало догнать кичливого «припельца». Разве он не знаменитый наездник среди казаков? Разве под ним не тот белый скакун, слава которого гремит по всей орде?

И гонка продолжалась. Вся в черном поту была лошадь, и пена летела с нее клочьями. Ходу, однако, она не убавляла, несмотря на то, что уже более тридцати верст остались за ее развевающимся хвостом. Диву давался даже сам старик Джунус.

«Ай, ай, ай! — думал он. — Дал же бог коню и сердце такое, и ноги такие!»

Восторгом и гордостью наполнялось его сердце.

Однако они порядочно отстали, но отказаться от погони никто из них не думал. Последние силы напрягала лошадь. Надежда подбодряла наездника: впереди уже маячили строения большой станции «Тугайлык»; там поезд будет стоять долго. «Тугайлык» лежал в сорока километрах от той станции, откуда началась гонка.

«Или здесь, или никогда!» — подумал Джунус и в последний раз взмахнул нагайкой. Издали был виден стоявший поезд. Только бы не тронулся!

Вот настигают... Вот настигли... А поезд все стоял. Джунус бурей влетел прямо на перрон и с видом победителя соскочил на землю. Знакомый казак стоял поблизости.

— Светильник мой, Имамбай, — сказал ему Джунус, — мне нужно ехать дальше, придержи мою лошадь!

А на лошадь было жалко смотреть. Окончательно выбившись из сил, она дрожала всем телом. Не успел Имамбай принять поводья, как вдруг ноги лошади подкосились, и она тяжело рухнула на землю. Скакун был загнан на-смерть.

В тот же момент раздался свисток паровоза. Все же Джунус вскочил в вагон.

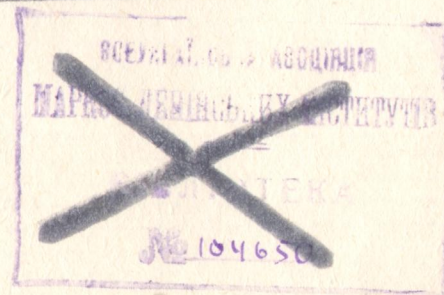
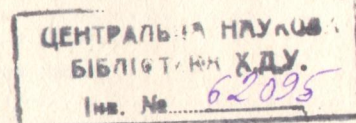
— А все-таки я догнал... — невесело сказал он Имамбаю, растерянному стоявшему над издыхающей лошадью, и отвернулся. Из глаз его катились в седую бороду две слезинки. Поезд тронулся.

Долго глядел за ушедшим поездом Имамбай и все еще не мог как следует сообразить, в чем дело.

Но быстро распространилась по степи молва о чудесном подвиге Джунусова коня. Далеко разнеслась слава белого жеребца, догнавшего в сорокакилометровой скачке «огненную арбу». Странствующие певцы-акыны сложили о нем хвалебную и жалостливую песню. Не было на свете лишь самого героя, чудеснейшего белого коня.

1916 г.

Вольный перевод автора.



	Стр.
От составителя	8
П. С. Коган. Вступительная статья	4
Абдулла Тукаев (стихи):	
Разбитая надежда	18
Поэт	—
Буря	19
Своей правая любовь	—
Прессба	20
Осенние ветры	21
Униженной	—
На заводе	22
В тяжелую минуту	—
Вечернее желание	23
Отрывок	—
Шурале (поэма)	—
Сагит Рамеев (стихи):	
Обманутый	28
Я умираю	30
Пусть смеются	—
Человек	31
Деревня	32
Праздник	33
Заря	34
Я	35
Ты	36
Она	—
Ной, мое сердце	37
Один человек	—
Моя ночь	38
Миру	39
Маджид Гафури (поэма):	
Ишчи (Рабочий)	41
Дардеменд (стихи):	
Корабль	65
Мы	—

Баби́ч (стихи):

Весенняя песня	66
Ради кого	67

Захи́да Иффа́т (стихи):

Зора Юлдуз (легенда)	68
--------------------------------	----

Фатхи́ Бурваш (стихи):

Коркуд (легенда)	74
----------------------------	----

Гали́дман Ибра́гимов (рассказы):

Дети природы	78
Старый батрак	92

Фатих́ Амирхан (рассказы):

Татар-кызы (Дочь татарина)	108
Самигулла-абзы	115

Шери́ф Кемаль (рассказы):

Давным-давно	122
Ссора	124
На чужбине	126
На заработки	131

Ахмидиев (рассказ):

Крылатый жеребенок	137
------------------------------	-----

Азиз́ Губайду́ллин (рассказы):

Брюки	148
Тюбетейка с вентилятором	151

Али́ Рахим (рассказ):

Состязание	153
----------------------	-----